

На протяжении всех перемен последних 15 лет Россия не переставала с пристрастием вглядываться в собственное прошлое. Со второй половины 1980-х годов, когда работа памяти, благодаря горбачевской либерализации, вышла из-под контроля официальной историографии, в России успели появиться и затем снова уйти на периферию общественного сознания несколько новых образов прошлого, глубоко изменивших представления россиян о своей стране. Трагедия сталинизма сделалась наконец предметом публичного обсуждения, но затем оказалась снова вытеснена из сознания общества. Отношение к Октябрьской революции, положившей начало советской системе, было подвергнуто радикальной ревизии, в умы стала внедряться идеализированная картина дореволюционной России. На первых порах, когда Россия еще только расставалась с советской эпохой, этот альтернативный образ прошлого, который должен был лечь в основу новой идентичности, утвердился очень легко, однако с течением времени он заметно утратил силу. Вновь возник раскол между представлениями о прошлом, пропагандируемыми властью, и живой памятью общества. На заре XXI в. Россия все еще не может справиться с мучительным опытом, пережитым ею в XX столетии.

Цель моей статьи — попытаться объяснить причины этого явления. Особое внимание я уделяю месту, занимаемому в памяти сталинской эпохой, и тому, как именно память о сталинизме влияла на представления россиян о прошлом в течение такого сложного и противоречивого периода, как последние полтора десятка лет. По моей гипотезе, вытеснение этой главной травмы российской истории XX в., — одна из основных причин того расстройства памяти, какое переживает сегодня Россия, осмысливая собственное прошлое. Можно сказать, здесь мы в очередной раз сталкиваемся с *прошлым, которое не уходит в прошлое*^{2*}. Меж тем неспособность разобраться в собственной истории ведет к невозможности выработать новую коллективную идентичность на какой-либо основе, кроме сугубо националистической. В самом деле, с начала первой чеченской войны (1994) национализм постоянно занимает все больше места в дискурсе власти, вытесняя из него те демократические ценности, к которым поначалу апеллировала посткоммунистическая Россия^{3*}.

Здесь я хотела бы сделать одно предварительное замечание. Термины "память" и "идентичность" все чаще используются сегодня как в научных работах, так и в средствах массовой информации^{4*}. Но исследователи да-

леко не единодушны в их трактовке. Определения этих понятий остаются весьма невнятными, о чем свидетельствует длинный ряд прилагательных, с помощью которых ученые пытаются зафиксировать суть ускользающей, но бесспорно существующей эмпирической реальности^{1*}: в ходу словосочетания "историческая память", "коллективная память", "диффузная память", "публичная память", "социальная память" и пр. Поэтому для начала я постараюсь объяснить как можно точнее, какой именно смысл я вкладываю в понятие "память".

Вообще я предпочитаю употреблять слово "память" без всяких эпитетов, несмотря на то, что во Франции чаще принято говорить о "коллективной памяти". Хотя многие суждения Мориса Хальбвакса о коллективной памяти^{2*}, вопреки неоднократным попыткам их оспорить^{3*}, сохраняют свое значение и актуальность^{4*}, мне кажется, все-таки лучше обходиться без этого понятия: на протяжении многих лет исследователи вкладывали в него самый разный смысл, и оно превратилось в своего рода пустой сосуд, наполняемый всякий раз — и притом не всегда осознанно — различным содержанием. Порой коллективную память отождествляют с памятью национальной, порой — с памятью официальной, порой — со своего рода "контр-памятью", которая призвана противостоять официальной памяти, и т.д. Кроме того, поскольку термин "коллективная память" имеет обобщающий характер^{5*}, он, как мне представляется, не в состоянии выразить динамизм памяти, в которой уживаются и конфликтуют разнонаправленные тенденции. Прежде всего он не способен отразить постоянно меняющееся отношение между памятью общества — иначе говоря, памятью, главенствующей в публичном пространстве, — и памятью отдельных социальных групп, от которых ждут отождествления их частных воспоминаний с этой общей, публичной памятью. Чтобы избежать путаницы, я употребляю термин "коллективная память" только применительно к воспоминаниям отдельной социальной группы или всего общества о тех событиях, которые пережиты сообща. В других же случаях приращение прилагательного "коллективная", на мой взгляд, не вносит в существительное "память" никаких новых оттенков.

Под "памятью" я понимаю совокупность представлений о прошлом, которые в определенный момент выкристаллизуются в обществе настолько явственно, что становятся фундаментом для "общего понимания" истории, благодаря которому индивидуальный опыт каждого преобразуется и вписывается в некие генерализованные рамки, призванные, в свою очередь, придать прошлому определенный смысл. Повествование, с помощью которого формируется "общее понимание", на время объединяет множество разных памятных образов, противоречащих

^{1*} См.: Roussou H. Les usages politiques du passé: Histoire et mémoire // Histoire politique et sciences sociales / Dir. D. Pescanski, M. Pollak, H. Roussou. Bruxelles, 1991. P. 243–264; Lavabre M.-C. Du poids et du choix du passé. Lecture critique du syndrome de Vichy. P. 265–278.

^{2*} Halbwachs M. Les Cadres sociaux de la mémoire. P., 1925; Idem. La Mémoire collective. P., 1997.

^{3*} См., в частности, дискуссию: Funkenstein A. Collective Memory and Historical Consciousness // History and Memory. 1989. N 1. P. 5–26; Gedi N., Elam Y. Collective Memory: What Is It? // History and Memory. 1996. N 1. P. 30–50.

^{4*} Я разделяю по этому поводу точку зрения Анри Руссо (Roussou H. Op. cit. P. 251 et suiv.), а также Паоло Едловского, см. его вступление к итальянскому изданию "Коллективной памяти" Хальбвакса (Halbwachs M. La memoria collettiva. Milano, 1997. P. 20–30 en part). См. также: Ricoeur P. La mémoire, l'histoire, l'oubli. P., 2000. P. 112–163 et passim.

^{5*} См. в связи с этим: Nora P. Mémoire collective // Goff J. le, Chartier R., Revel J. La Nouvelle histoire. P., 1978. P. 398–401.

^{1*} Первоначальный вариант статьи опубликован в: Matériaux pour l'histoire de notre temps.

^{2*} Это выражение, обозначающее нацистское прошлое, возникло в 1980-е годы в ходе дискуссии о ревизионизме, в которой приняли участие немецкие историки и философы, в частности, Эрнст Нольте и Юрген Хабермас (см. ее материалы во фр. пер.: Erler G., et al. L'Histoire escamotée. Les tentatives de liquidation du passé nazi en Allemagne. P., 1988).

^{3*} См.: Левинтова Е. Политический дискурс в постсоветской России (1992–2001 гг.) // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2002. № 2. С. 16–26.

^{4*} См., например, выводы, к которым приходит Анри Руссо: Roussou H. La hantise du passé. P., 1998, P. 14. Об истории введения этих понятий в речевую практику см.: Jillis J.R. Memory and Identity: The History of a Relationship // Commemorations. The Politics of National Identity / Ed. J.R. Jillis. Princeton, 1994. P. 3–4 et passim.

друг другу, а зачастую и внутренне противоречивых^{1*}; оно способствует рождению у людей чувства принадлежности к общему прошлому, благодаря чему у коллектива появляется сознание собственной идентичности. Иначе говоря, именно память — та главная структурная составляющая, которая наделяет общество представлением о своей идентичности, позволяет ему вписаться в длительную временную протяженность, в традицию^{2*}. Под "идентичностью" же я понимаю чувство принадлежности, заставляющее индивида узнавать собственные черты в определенном, отличном от других, сообществе, обладающем собственной системой ценностей.

Поиски идентичности были одной из главных пружин, приводивших в действие механизмы памяти в России начиная с середины 1980-х годов. В этом процессе, за несколько лет полностью преобразившем представления о прошлом, бытовавшие сначала в Советском Союзе, а затем в России, можно выделить три основных периода. Первый (1986–1990) ознаменовался болезненной реинтеграцией трагической истории сталинской эпохи в память общества; второй (1990 г. — середина последнего десятилетия XX в.) характеризуется, напротив, вытеснением сталинизма из памяти, а также переосмыслением Октябрьской революции и идеализацией дореволюционной России; третий (середина 1990-х годов — конец ельцинской эпохи в 2000 г.) стал временем рождения чего-то вроде новой официальной истории, которая придает законченную форму мифу о царской России, а советскую эпоху из прошлого страны исключает. Я рассмотрю каждый из этих периодов отдельно, стараясь подчеркнуть в первую очередь, насколько функционирование памяти было обусловлено поиском россиянами собственной идентичности и как сильно затрудняла этот поиск невозможность осмыслить тяжелое наследие сталинского режима. Конечно, поиск идентичности не единственный фактор, позволяющий объяснить превратности работы памяти, подвергающейся давлению со стороны самых разных структур и институтов, в частности, форм общественного и политического использования прошлого^{3*}. Однако именно поиск идентичности — главный фактор, предопределивший появление различных образов прошлого; именно поэтому я уделяю ему здесь такое место.

Реинтеграция сталинизма в память общества. В течение первого периода, приблизительно совпадающего с перестройкой, сталинизм, прежде обреченный официальной историей на забвение, был постепенно снова вписан в память общества: Советский Союз с большим трудом включился, наконец, в "работу траура"^{4*}. Таким образом, было продолжено дело, начатое во время "оттепели" после доклада Н.Хрущева о сталинских преступлениях на

1* О способах формирования "общего взгляда" на прошлое см. образцовый в этом отношении труд: *Portelli A. L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria.* Roma, 1999.

2* О соотношении памяти и идентичности см.: *Le Goff J. Histoire et mémoire.* P., 1988. P. 174 et suiv.; *Lowenthal D. The Past is a Foreign Country.* Cambridge, 1985. P. 41–46, 197–200 et passim. Теоретический анализ (впрочем, не всегда удачный) этого соотношения см. также в первой части сборника под редакцией J.R.Jillis: *Commemorations...*

3* Под "общественным использованием" прошлого я понимаю обращение к истории для построения, прояснения и развития различных идеологий [*historia magistra vitae*], а под "политическим использованием" — обращение к истории для легитимации политических предпочтений, иначе говоря, инструментализацию прошлого ради конкретных политических целей. См. об этом: *Les usages politiques du passé / Ed. F.Hartog, J.Revel.* P., 2001.

4* Об этом понятии см. ниже с. 42–43, а также сноска на с. 43 (левая колонка). — *Прим. ред.*

XX съезде партии (1956) и разом прекращенное после отстранения первого секретаря от власти (1964). С 1986 г. литераторы, деятели кино и театра, пользуясь ослаблением цензурного гнета, делают все возможное, чтобы восстановить в памяти те глубокие травмы, которые были нанесены стране за годы сталинского правления и о которых прежде было позволительно вспоминать только в частном порядке: коллективизацию, насильственную индустриализацию, массовые репрессии и террор 1930-х годов, депортацию целых народов, разгул антисемитизма и послевоенные репрессии. Общая картина сталинской эпохи вырисовывается постепенно, фрагмент за фрагментом. После 1988 г., когда в печати начинают появляться рассказы Варлама Шаламова и воспоминания узников сталинского ГУЛАГа, с публикацией в 1989 г. книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" в память начинает вписываться также мир концентрационных лагерей.

С конца 1987 г. в работу по заполнению "белых пятен" включаются ежедневные и еженедельные газеты, а также телевидение. Перед ними стоит задача по восстановлению в памяти целых страниц истории страны, личностей и событий, вычеркнутых из прошлого (таких, например, как катастрофическое положение в первые месяцы Отечественной войны или судьба старой большевистской гвардии и оппозиции при Сталине). Эти публикации дают читателям фактические, документальные подтверждения событий, изображенных в художественной прозе и кино. В этот же период возникают открытые дискуссии, в которых сталкиваются различные взгляды на истоки сталинизма и его место как в российской истории в целом, так и на более узком отрезке послереволюционной истории страны.

Этот процесс затронул не только узкие круги интеллигенции, в него оказалось втянуто все общество в целом или, по крайней мере, очень значительные его слои. Об этом свидетельствует необычайный успех публикаций, посвященных сталинской эпохе. Тиражи журналов, *обличающих* сталинизм, растут самым впечатляющим образом: всю страну охватывает беспрецедентная жажда чтения; как говорили в те годы, "читать стало интереснее, чем жить"^{1*}. Чтобы дать представление о масштабе описываемого явления, достаточно привести несколько цифр. В 1985 г. журнал "Дружба народов" выходил тиражом 119 тыс. экземпляров; после публикации романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата" тираж его вырос до 775 тыс. в 1988 г., а в 1990 г. достиг 1 млн с лишним экземпляров. "Новый мир", бывший самым активным борцом против сталинизма во время "оттепели", но разгромленный в 1970 г., к 1985 г. выходил тиражом 425 тыс. экземпляров; между тем в начале 1989 г. тираж его достиг уже 1,5 млн, а летом того же года, когда на его страницах начинает печататься "Архипелаг ГУЛАГ", превысил 2,5 млн. То же самое происходит с еженедельниками: "Огонек" в 1985 г. выходит тиражом 1,5 млн, а в 1988 г. его тираж достигает 3,5 млн и застывает на этой цифре отнюдь не из-за прекращения спроса, а из-за искусственного ограничения числа подписчиков^{2*}.

Почти исключительное место, которое в работе памяти занимает в этот период сталинизм, объясняется рядом факторов. Первым делом, разумеется, следует назвать общественное использование истории во внутрипартий-

1* *Чупринин С.* Предвестие. Заметки о журнальной прозе 1988 года // *Знамя.* 1989. № 1. С. 211.

2* Об итогах подписки на центральные газеты и журналы на 1989 год // *Известия ЦК КПСС.* 1989. № 1. С. 139–139. Все приводимые цифры касаются только подписки. О популярности исторических романов см. также: *Лурье С.* Как угодить читателю // *Социологические исследования.* 1988. № 6. С. 43–50; *Шведов С.* Литературная критика и литература читателей // *Вопросы литературы.* 1988. № 5. С. 3–31.

ной борьбе реформаторов и консерваторов. Другой немаловажный фактор — расширение круга тем (в том числе и тех, которые связаны со сталинской эпохой), подлежащих пересмотру, впрочем, это расширение происходило очень постепенно, осторожно, ведь в ту пору официальная история еще сохраняла немалую власть. Однако на более глубинном уровне завроженность сталинизмом выдает сильнейшее давление *прошлого*, которое *не хочет уходить в прошлое*. Это прошлое, хотя и насильственно вытесненное из памяти, жило не только в воспоминаниях выживших очевидцев, но и в умах того поколения интеллигентов, становление которого пришлось на эпоху "оттепели" и которое, занимая в брежневскую эпоху маргинальное место в общественной жизни, вместе с перестройкой вышло на авансцену. Именно представители этого поколения, за немногими исключениями, первыми осознают и провозглашают потребность "узнать наконец *правду* о прошлом" (слова "правда" и "память" для этого периода — ключевые). Многие из упомянутых произведений были написаны в пору "оттепели" десталинизации, а затем подверглись запрещению, тем не менее они тайно ходили по рукам в брежневскую эпоху и таким образом сыграли первостепенную роль в сохранении памяти о сталинских временах.

На самом деле, хотя официальные власти брежневской эпохи делали все возможное для того, чтобы вычеркнуть из памяти трагедию сталинских лет (официальная история была в очередной раз переписана заново, причем все следы изобличенных Н.Хрущевым преступлений в ней были стерты; в исторических текстах Сталин постепенно вновь стал упоминаться как человек, которому страна обязана своим могуществом*), в реальности Советский Союз в эти годы представлял собой общество, перенасыщенное памятью. Парадоксальным образом чем более сильное давление оказывало государство на общество, стремясь заставить его забыть прошлое, обрекая его на своего рода амнезию, тем с большей страстью общество предавалось воспоминаниям, создавая некий культ *памяти***.

Исключенная из официального дискурса память о сталинизме сохранялась и углублялась в неофициальной культуре, так называемой "серой зоне", существование которой было в высшей степени характерно для брежневского Советского Союза. Распространенное как в России, так и на Западе представление о брежневской эпохе как о периоде едва ли не неосталинистском, не учитывает глубоких трансформаций, которые претерпели в эту эпоху отношения между властью и обществом и следствием которых стало возникновение этой "серой зоны". На самом деле именно в данный период советское общество постепенно освобождается от идеологического гнета, а интеллигенция начинает дистанцироваться от власти, обретая частичную независимость от нее. Идеализация хрущевской "оттепели" часто приводила к забвению того факта, что в этот период центральное место по-прежнему занимала идеология, а власти требовали от граждан активного приятия официальных догм — можно даже сказать, веры в них, — грозя отступникам обвинениями в ереси***.

* Labedz L. Stalin and History: Perspectives in Retrospect // Survey. 1977-1978. N 3. P. 134-146; Van Goudoever A.P. The Limits of Destalinisation in the Soviet Union. Political Rehabilitations in the Soviet Union since Stalin. L.; Sidney, 1986. P. 121, 126-127, 130-140.

** Так обстояло дело не только в Советском Союзе, но и во всех социалистических странах; см., например: A l'est, la mémoire retrouvée / Dir. A.Brossat, S.Combe, J.-Y.Potel, J.-Ch.Szurek. P., 1990.

*** В качестве примера можно привести суд над молодыми историками из "группы Краснопевцева": в 1957 г. их осудили на долгие лагерные сроки за то, что они осмелились поставить под сомнение существование социализма в СССР. См. об этом: Вопросы истории. 1994. № 4. С. 106-135.

Именно в эти годы возобновились крупные пропагандистские кампании, которые шли под лозунгом возвращения к подлинному, неискаженному ленинскому наследию и имели своей целью убедить граждан в правильности ценностей, утверждаемых властью*. После прихода к власти Л.Брежнева это идеологическое напряжение с каждым годом становилось все слабее. Давление государства на умы уменьшалась. Желание убедить в собственной правоте любой ценой уступало место компромиссу: если на публике люди были обязаны клясться в верности коммунистическим идеям и символам, в частной жизни они могли придерживаться любых взглядов. Брежневская эпоха стала годами беспримерного конформизма, за который люди платили постоянным раздвоением сознания**.

В тех промежутках и щелях, которые властью не контролировались, и возникла вышеупомянутая "серая зона". Не полностью публичная и не полностью частная, она близка к подполью, но, строго говоря, не является подпольной: устраивались "закрытые" и полужакрытые семинары в академических институтах и в университетах, тематические вечера на квартирах и пр. В этом пространстве рождались и сталкивались точки зрения, альтернативные официальной. Именно здесь распространялась литература сам- и тамиздата. Границы этой зоны были очерчены весьма нечетко: здесь могли сосуществовать самые разные позиции по отношению к власти, от диссидентства (еще одно явление, которое не могло бы возникнуть в прежние эпохи) до определенной включенности в истеблишмент. Можно представить эту зону как набор концентрических кругов с диссидентством в центре. Из этого центра идеи распространялись в более широкие сферы, и процесс этот совершался безостановочно. Именно в этой зоне происходило осмысление феномена "сталинизм", а затем и всей истории страны до и после революции. Подобная подпольная работа памяти оказала немалое влияние на культурную жизнь страны, ее крупнейшие фигуры с почти маниакальным вниманием вглядывались в собственное прошлое, которое порой самыми причудливыми путями присутствовало в современной жизни едва ли не повсеместно. Несмотря на старания цензуры, препятствовавшей выходу десятков произведений, запретная память о прошлом упрямо находила свое выражение в официально разрешенной литературе. Назову лишь один пример — творчество Юрия Трифонова, которое всецело строилось вокруг проблемы сталинизма, хотя говорилось о ней не напрямую, а только намеками.

Тем не менее в брежневскую эпоху память о сталинизме, обреченная на официальное замалчивание, оставалась памятью, так сказать, интимной, раздробленной. Не став предметом общественного обсуждения, она была лишена концептуальных рамок и потому не могла естественной и основополагающей частью войти в коллективную память страны. Насильственное замалчивание прошлого в течение долгих лет не позволяло обществу пережить "траур" по сталинизму: работа эта, начатая в хрущевскую эпоху, была, как мы видели, прервана. Поскольку понятие "траур" играет в моей статье важную роль, я постараюсь объяснить, что именно я имею в виду.

* Достаточно вспомнить атеистические кампании, в ходе которых были закрыты и/или разрушены тысячи церквей; делалось это для борьбы с христианством, которое, согласно классикам марксизма, является силой реакционной; см., например: Davies N. The Number of Orthodox Churches before and after the Khrushchev Antireligious Drive // Slavic Review. 1991. N 3.

** См., например: Леада Ю., Ноткина Т., Шейнис В. Секрет нестабильности самой стабильной эпохи // Погружение в трясину: Анатолия застоя. М., 1991. С. 15—30; Шубин А.В. От "застоя" к реформам. СССР в 1917—1985 гг. М., 2001.

Это понятие психоаналитиков пришло в обиход историков, изучающих феномены памяти, из работ по социальной психологии^{1*}, а если говорить о полевых исследованиях, — из антропологии^{2*}. Переживание траура — процесс, посредством которого коллектив примиряется с собственным прошлым, принимает прошлое, вписывая травматический опыт своей истории в память, не замалчивая и не забывая его. Переживание траура — публичный труд в той степени, в какой ритуалы и церемонии обеспечивают рамки, в которых может происходить социализация горя отдельных людей и возникает возможность делиться своими переживаниями в пределах ограниченного времени и пространства. В этом случае эмоциональный заряд памяти одновременно и находит себе выражение, и сдерживается в определенных границах. Таким образом, прошлое мало-помалу становится объектом принятия. И это позволяет ему действительно уйти в прошлое и не омрачать настоящее. Иными словами, переживание траура — это тот процесс, который позволяет памяти стать менее мучительной, а коллективу — освободиться от груза прошлого, при этом храня воспоминание о прошлом, каким бы горьким оно ни было^{3*}.

На мой взгляд, метафора траура во многих отношениях как нельзя лучше подходит для описания того процесса, в ходе которого память о сталинизме реинтегрировалась за годы перестройки в сознание общества. В этот период проблема сталинизма ставится скорее в этической, чем в политической плоскости. На первый план выходит мысль о том, что освободиться от груза прошлого можно, лишь публично приняв на себя ответственность за него. Об этом свидетельствует популярность, которую приобрели в этот период такие темы, как признание коллективной вины и необходимость покаяния. Принять ответственность за прошлое означает прежде всего по справедливости воздать миллионам жертв сталинизма, которые, сгинув в эти страшные годы, были потом обречены на забвение. Эта справедливость понимается именно как долг памяти^{4*}. Лучшим эпиграфом к размышлениям на эту тему становятся строки из "Реквиема" Анны Ахматовой: "Хотелось бы *всех поименно назвать*, но отняли список, и негде узнать"^{5*}; речь идет о необходимости составить "список" жертв сталинизма, установить, когда, как и где они погибли, чтобы иметь возможность символически почтить их память^{6*}. Необходим список жертв, но не менее необходим и список палачей, они также должны быть вписаны в книгу памяти, с тем чтобы никому было не повадно повторять прошлое^{7*}. Долг

памяти в его тогдашнем понимании подразумевает также признание коллективной вины за преступления сталинизма — признание, без которого страна не сможет, покаившись, очиститься от своей вины и освободиться от невыносимого груза прошлого^{1*}. "Покаяние" — именно так назывался фильм Тенгиза Абуладзе, который в начале 1987 г. поставил перед широкой публикой проблему непережитого траура по сталинской эпохе, а следовательно, проблему невозможности освободиться от ее гнета. Эту невозможность символически воплощает в фильме труп диктатора, который, сколько бы его ни зарывали в землю, всякий раз является к своим наследникам, поскольку его преступления не были осуждены публично^{2*}.

В этот период восстановление памяти о сталинской эпохе осмысливается как акт катартического и освобождающий, который должен позволить России обрести идентичность, утраченную из-за амнезии, навязанной властью. Убежденность, что отмененный траур, калечение памяти о прошлом глубоко извратили представления общества о самом себе, проявилась, среди прочего, в широком распространении в первые годы перестройки слова *манкурты* и его производных, таких, как *манкуртизация*, для обозначения состояния, в котором находится страна^{3*}. Дань жертвам сталинизма, долг памяти понимается как необходимое условие восстановления национальной идентичности, без которой страна не сможет шагнуть в будущее, начать движение в сторону демократии, как бы смутно ни виделась в ту пору подобная цель^{4*}. Именно здесь, в двойном измерении, где долг памяти перед погибшими пересекается с задачей (скорее этической, чем политической) не позволить сталинизму кануть в забвение, образуется, как это было когда-то при рождении диссидентства, та точка, в которой соединяются прошлое и настоящее.

Именно на волне этих настроений в 1988 г. была создана ассоциация "Мемориал", которая поставила своей целью увековечение памяти жертв сталинизма и получила широкое признание в стране. При возникновении "Мемориала" олицетворял союз между интеллигентами-реформаторами горбачевской эпохи и диссидентами; те и другие способствовали созданию "Мемориала", те и другие намеревались бороться против забвения^{5*}. По инициативе "Мемориала" был начат сбор документов и свидетельств, которые должны были лечь в основу списка репрессиро-

1* Отсылаю читателя к классической работе: *Mitscherlich A., Mitscherlich M. Le Deuil impossible. Les fondements du comportement collectif*. P., 1972, где проблема вытеснения нацистского прошлого впервые рассмотрена с использованием понятия "траур". См. также более новую работу: *Gaudard P.-Y. Le Fardeau de la memoire. Le deuil collectif allemand après le national-socialisme*. P., 1997.

2* *Martino E. de. Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria*. Turin, 1975; *Storia e memoria di un massacro ordinario* / Ed. L. Paggi. Roma, 1996; *La memoria del nazismo nell'Europa di oggi* / Ed. L. Paggi. Firenze, 1997.

3* См.: *Conan E., Roussio H. Vichy. Un passe qui ne passe pas*. P., 2001. P. 422-423 en part; *Roussio H. La Hantise du passe*. P. 17-18 et passim.

4* О долге памяти см. новейшую работу: *Kattan E. Penser le devoir de memoire*. P., 2002.

5* "Реквием" был впервые напечатан в Советском Союзе только в годы перестройки (Октябрь. 1987. № 3). Курсив мой.

6* Начиная с весны 1988 г. эти строки стали девизом участников борьбы за воскрешение памяти о прошлом, входивших в общество "Мемориал", речь о котором пойдет ниже.

7* См., например: *Альбаи Е. Анатомия мерзости* // Московские новости. 1988. № 42. С. 13; *Разгон Л. Приводящий в исполнение* // Там же. 1988. № 48. С. 11; *Курочкин В. Назвать всех поименно* // Там же; *Щербакова И. Надо ли помнить прошлое?* // Там же. С. 12.

1* См., например: *Гейфтер М. Надо ли нас бояться?* // Век XX и мир. 1987. № 8. С. 42-48; *Он же. Сталин умер вчера...* // Рабочий класс и современный мир. 1988. № 1. С. 113-129; *Борщоговский А. О чувстве вины* // Московские новости. 1987. № 41. С. 13; *Афанасьев Ю. Перестройка и историческое знание* // Литературная Россия. 1987. № 24; *Виноградов И. Может ли правда быть поэтапной?* // Иного не дано. М.: Прогресс, 1988; *Казутин Д. Жертвою пали* // Московские новости. 1988. № 48. С. 5.

2* О восприятии этого фильма см., например: *Битов А. Портрет художника в смелости* // Московские новости. 1987. № 7. С. 13; *Аннинский Л. В ком дело? Заметки не о кино* // Знамя. 1987. № 6. С. 197-209; *Ионин Л. ...И воззовет прошедшее* // Социологические исследования. 1987. № 3. С. 62-72.

3* Первый текст, в котором метафорический образ манкуртов, почерпнутый из романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" (1980), использован именно в таком смысле, это, насколько мне известно, статья: *Афанасьев Ю. Прошлое и мы* // Коммунист. 1985. № 14. С. 105-116. См. также: *Давыдов Ю. Память и культура (О смыслообразующих началах человеческого действия)* // Социологические исследования. 1987. № 6. С. 11-22.

4* См.: *Афанасьев Ю. Прошлое и мы. Эволюцию взглядов автора можно проследить по его статьям, собранным в книге: Я должен это сказать. М., 1991.*

5* У истоков "Мемориала" стояла группа, с 1976 г. выпускавшая диссидентские сборники "Память". Среди основателей "Мемориала" были такие видные участники диссидентского движения, как Лариса Богораз, и представители "молодого" поколения — Арсений Рогинский, Александр Даниэль.

ванных; местные отделения ассоциации собирали информацию на всей территории СССР. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первые серьезные, научно-документированные работы о советских концентрационных лагерях, появившиеся в самое недавнее время, принадлежат перу членов "Мемориала"^{1*}. По инициативе ассоциации, в 1988 г. начали проводиться различные мероприятия, которые можно назвать траурными в самом прямом смысле слова: например, члены "Мемориала" разыскивали захоронения узников в тех местах, где раньше находились лагеря, либо общие могилы, в которых покоились расстрелянные. Благодаря этой деятельности родственники погибших узнали наконец, где именно умерли их близкие, обрели место, где можно их оплакать. Мемориальные церемонии и символические ритуалы, которые проводятся в таких местах (заупокойные богослужения, установка памятных досок или крестов) позволяют людям выражать свое горе и убеждаться в том, что общество сочувствует им, уважает понесенные ими потери^{2*}.

Социализация горя представляет собой важнейший этап процесса восстановления памяти о сталинизме во время перестройки: она придает горю коллективный характер, позволяет пережить его сообща. В тот период одно за другим проходили, затягиваясь до поздней ночи, бесконечные собрания, участники которых по очереди брали слово, чтобы поделиться воспоминаниями, рассказать о своей личной трагедии и тем самым превратить ее в элемент коллективной памяти. Жертвы, на долгие годы приговоренные к молчанию, начинают писать письма в газеты, чтобы на основании собственного опыта свидетельствовать о трагедии эпохи: они рассказывают о том, как раскулачивали их семьи, как исчезали их родители в период репрессий^{3*}. Желание поделиться воспоминаниями о личных переживаниях и тем самым включить их в коллективную память особенно ясно видно по письмам, содержащим свидетельства о сталинской эпохе, которые в большом количестве присылались тогда авторам книг о сталинизме с тем, чтобы писатели могли использовать их в будущем^{4*}. Это переживание траура было мучительно и придавало напряженно-страстный характер процессу

включения сталинизма в память: рассказы выживших жертв об ужасах сталинской эпохи и шок, который эти рассказы вызывали в обществе, подчас превращали происходящее в своего рода коллективную психодраму.

Эмоциональный характер этого процесса, равно как и включение в него самых широких слоев общества, свидетельствует о глубочайших идентификационных напряжениях, которые питают работу памяти. С 1987 г. в статьях и читательских письмах на страницах газет и журналов постоянно, как наваждение, повторяются одни и те же вопросы: "Кто мы такие? Почему мы стали такими?". Это свидетельствует о смятении общества, которое в течение очень долгого времени страдало амнезией, а теперь, смотря в зеркало прошлого, не узнает себя, не имеет возможности собрать в единое целое осколки своей идентичности. Конечно, в кризисе идентификации, переживаемом советскими людьми во второй половине 1980-х годов, проявляется, наряду с прочим, обнаженный перестройкой глубинный кризис всей страны, а также радикальный характер провозглашенных перемен. Однако кризис, связанный с поисками идентичности, о размахе которого свидетельствуют первые социологические опросы, проводившиеся начиная с 1989 г.^{1*}, объясняется, по-видимому, в первую очередь — именно так его и осознают — искажением памяти о прошлом, насильственным замещением ее официальными представлениями, которые настолько далеки от индивидуального опыта каждого, что основать какую бы то ни было коллективную идентичность, кроме показной, на них невозможно^{2*}. Кстати, ощущение потери идентичности — мотив, который, наряду с мотивом памяти, очень часто встречается и в подцензурной литературе брежневской эпохи, причем у писателей самых разных направлений. Появление в эту эпоху огромного числа мифологизированных концепций подобной идентичности, их успех у публики отвечали, по всей видимости, потребностям общества, которое, не имея возможности узнать свое прошлое, принимается изобретать его воображаемые варианты^{3*}.

На более формализованном уровне поиски идентичности, питающие работу памяти, — следствие дискуссий об истоках сталинизма, которые начинаются в 1987-1989 гг. Участники этих дискуссий — не профессиональные историки, зачастую скомпрометированные прежним сотрудничеством с властью, а эссеисты самого разного профиля (литературные критики, философы и пр.), — встревожены в первую очередь вопросом о соотношении между сталинизмом и русской историей, их публицистические размышления структурируются постоянным напряжением между поиском национальной специфики, с одной стороны, и всегдашней оглядкой на западную модель — с другой. В ходе дискуссий намечаются различные трактовки прошлого, из которых выводятся те или иные варианты

1* См., например: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923-1960: Справочник / Сост. Н.Охотин, А.Рогинский. М., 1988.

2* В качестве примера можно назвать захоронение, обнаруженное в 1988 г. в Куропатском лесу под Минском, где в 1937—1941 гг. были расстреляны от 100 тыс. до 250 тыс. человек; см.: Стук А. Трагедия Куропатского леса // Московские новости, 1988. № 34. С. 4; Позняк З. Куропаты. Народная трагедия, о которой должны знать все // Там же. 1988. № 41. С. 16; Адамович А. Оглянись окрест! // Огонек. 1988. № 39. С. 28-30; Быков В. Дубинки против гласности // Там же. 1988. № 47. С. 31; Герменчук И. День поминовения в Куропатах // Московские новости. 1989. № 45. О влиянии мемориальных церемоний на переживание траура см.: Martino E. de. Morte e pianto rituale...; Pasquinelli C. Memoria versus ricordo // Storia e memoria / Dir. L. Paggi. P. 111-129.

3* См., например, письма Л.Поздняковой (Неделя. 1988. № 10. С. 2); Н.К.Мочаловой (Огонек. 1988. № 8. С. 4) и И.М.Хмилевского (Огонек. 1988. № 12. С. 3). См. также: Читатели о поэме А.Т.Твардовского "По праву памяти" // Знамя. 1987. № 8. С. 227-236; Самсонов А. Знать и помнить. Диалог историка с читателем. М., 1988. Огромное количество писем получил "Мемориал", который с 1988 г. начал систематическую работу по сбору свидетельств очевидцев сталинской эпохи. В частности, члены ассоциации составили вопросник для всех, кто мог предоставить информацию о репрессиях и лагерях. Подборку таких писем см. в кн.: Звенья. Исторический альманах / Сост. Н.Охотин, А.Рогинский. М., 1991. Т. 1. С. 9-61.

4* См., например: Письма читателей к Анатолию Рыбакову по поводу романа "Дети Арбата" // Дружба народов. 1988. № 2. С. 256-269; Роман Анатолия Рыбакова "Дети Арбата": Отклики на отклики // Там же. 1988. № 8. С. 265-271.

1* Если до перестройки представление о коллективной идентичности основывалось, среди прочего, на уверенности в том, что Советский Союз — страна во всех отношениях образцовая и передовая, то с 1989 г. на первое место выходит противоположное ощущение — что СССР не может быть примером ни в чем и никому. См., например: Есть мнение! М., 1990. С. 84-89, 94-99, 284; Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993. С. 279.

2* См., например: Афанасьев Ю. Прошлое и мы.

3* Вспомним, например, успех псевдоисторического сочинения В.Чивилихина "Память" (1978), воспевавшего величие русского народа, — впоследствии на эту книгу непременно ссылались все крайние националисты. Напомню также о чрезвычайной популярности исторических романов Валентина Пикуля, также в высшей степени проникнутых "патриотическим духом" (см.: Гулыга А. Феномен Пикуля // Москва. 1988. № 6. С. 195-199; Анисимов Е. Феномен Пикуля — глазами историка // Знамя. 1987. № 11. С. 214-223).

коллективной идентичности. Эти трактовки, хотя и излагались с большой осторожностью, представляли собой плоды тех размышлений об истории страны, которым интеллигенция предавалась втайне с самого конца "оттепели". Именно в ту пору в Советском Союзе неофициально, с помощью "эзопова языка", были воскрешены два главных течения русской общественной мысли: "славянофилы" и "западники"*. Во время перестройки те и другие смогли наконец открыто высказать свои идеи, предложить меняющейся России новые формы коллективной идентичности и способствовать структурированию новых, находящихся в процессе становления идеологических полей: либерализма и национализма. Спор об истоках сталинизма — решающий этап этого процесса, он позволяет точнее всего оценить ту роль, которую идентификационные напряжения, управляющие работой памяти, сыграли в становлении политической культуры посткоммунистической России.

С точки зрения либералов-западников, наследников демократического крыла диссидентского движения (правозащитников, сплотившихся вокруг А.Д.Сахарова), сталинизм глубочайшим образом и на протяжении длительного времени связан с русской историей, хотя и не только с ней. Он — следствие отсталости дореволюционной России (И.Клямкин), гнетущей власти царской бюрократии (В.Селюнин) или своеобразного усвоения марксизма частью интеллигенции, равно как и мессианского миллениаризма, уходящего корнями в архаическое прошлое страны (А.Ципко)**.

Напротив, славянофилы — наследники националистического крыла диссидентского движения (А.Солженицын, И.Шафаревич) — считают сталинизм явлением наносным, импортированным, совершенно чуждым русской истории. Они убеждены, что сталинизм, истребивший русское крестьянство, — последнее из "дьявольских" нововведений, заимствованных у Запада, приведшее к окончательному уничтожению национальной самобытности России участниками всемирного "еврейского заговора" (В.Кожин, А.Кузьмин)***. Если для "западников" сталинизм — плод мессианских настроений, присущих русской душе, и результат особого исторического пути, избранного Россией в отличие от Запада с его ценностями индивидуализма и свободы, то славянофилы видят в сталинизме плод измены национальной традиции, общинным и христианским ценностям. Соответственно, в той концепции идентичности, которую выдвигают либералы, подчеркиваются преимущественно западные, а еще точнее, европейские черты российской

действительности, тогда как славянофильская модель идентичности предполагает возвращение к традиционным национальным ценностям.

Глубинные идентификационные напряжения, которыми питается пробуждение памяти, не только исключают всякую возможность остановить переосмысление прошлого (летом 1988 г. преподавание истории по старой программе в средних школах было прекращено), но объясняют мощнейшие способности политической и идейной мобилизации, присущие в тот период разоблачениям сталинизма. Пробуждение памяти влияет на новое распределение политических сил как в верхах, так и в стране в целом. Поскольку история играет важнейшую роль в легитимации власти, она становится предметом ожесточенных конфликтов между реформаторами и консерваторами. Если реформаторам, объединяющимся вокруг М.Горбачева, ревизия прошлого нужна, среди прочего, для легитимации политики реформ, то консерваторам отказ пересмотреть свое отношение к сталинизму как к тяжелому, но неизбежному этапу построения социализма служит формой сопротивления какому бы то ни было, пусть даже частичному, демонтажу советской системы. Политический смысл осуждения сталинизма очевиден: оно неизбежно влечет за собой утрату коммунистической партией монополии на власть. Утверждая, что сталинизм погубил страну, что следовало избрать иные пути, как и предлагали различные оппоненты — современники Сталина, сторонники реформ тем самым узаконивают политическую оппозицию и требуют создания политической арены, где могли бы решаться дальнейшие судьбы страны. Именно в этой узловой точке прошлое и будущее сходятся: работа траура по сталинизму питает волю к радикальным переменам в стране, включает общество в движение за демократизацию, представляемую, впрочем, еще весьма смутно. Переживание траура рождает в России демократическое движение, тогда как в других республиках пробуждение памяти о прошлом питает борьбу за независимость.

Политический контекст, в который вписано в этот период восстановление памяти о преступлениях сталинизма, — это первые, еще неуверенные шаги на пути к демократизации Советского Союза (узаконение политического плюрализма в партии на XIX партийной конференции летом 1988 г., общенародное избрание делегатов на первый Съезд народных депутатов весной 1989 г., отмена в начале 1990 г. шестой статьи Конституции о руководящей роли КПСС, введение поста президента и т.д.). Подобная "секуляризация" власти изменяет статус обсуждения прошлого и становится предпосылкой радикализации дискуссий, характерной для следующего периода. Перенос источников легитимации власти (теперь это уже не "историческая необходимость", проводником которой являлась коммунистическая партия, но суверенитет народа) отменяет нужду в официальной истории. Теперь и описание прошлого может "секуляризоваться", иначе говоря, развиваться свободно, повинувшись своей собственной логике. Этому способствует ограничение полномочий цензуры и, в еще большей степени, принятие в 1990 г. закона о печати, дающего свободу прессе.

Вытеснение сталинизма: переоценка Октябрьской революции и идеализация дореволюционной России. Глубокие идентификационные напряжения, управляющие пробуждением памяти в период перестройки, обуславливают, по всей видимости, и характерное для следующего периода "вытеснение" сталинизма (в психоаналитическом смысле этого термина). Если до 1989 г. вся страна была буквально заворожена сталинизмом, в последующий период сталинизм начинает отходить на второй план, а затем о нем вообще перестают говорить; процесс переживания тра-

* Современных славянофилов называют обычно "неославянофилами" или "русософилами". Для простоты я буду называть их славянофилами. Из этого никак не следует, будто я считаю их наследниками философских традиций славянофильства XIX в., что относится и к термину "западники": классические труды идеологов обоих течений были из-за цензурных запретов известны в советскую эпоху лишь весьма приблизительно. О возрождении славянофильства см.: Berelowitch A. Des Slavophiles aux Russophiles // Revue d'études slaves. 1981. N 2. P. 233-244; Dunlop J.B. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton, 1983. P. 29-62 et passim.

** Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 1987. № 11. С. 150—188; Он же. Была ли альтернатива административной системе? // Политическое обозрение. 1988. № 10. С. 55-65; Он же. Марксизм и большевизм // Драма обновления / Сост. М.И.Мелкумян. М.: Прогресс, 1990. С. 280-304; Селюнин В. Истоки // Новый мир. 1988. № 5. С. 162-189; Ципко А. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1988. № 11. С. 45-55; 1988. № 12; 1989. № 1. С. 46-56; 1989. № 2. С. 53-61. О связи отсталости страны и сталинизма см. также: Гордон Л., Клопов Э. Зерна и плевелы. Размышления о предпосылках и итогах преобразований 1920-х годов // Рабочий класс и современный мир. 1988. № 2. С. 105—121.

*** Кузьмин А. К какому храму ищем мы дорогу // Наш современник. 1988. № 3. С. 154—164; Кожин В. Правда и истина // Там же. 1988. № 4.

ура вновь прерывается. Осуждение сталинизма уступает место другой теме — радикальному пересмотру отношения к Октябрьской революции, положившей начало советскому режиму. При этом дореволюционная Россия становится предметом ностальгической идеализации (напомню, что и тот и другой процесс был подспудно начат еще в 1970-х годах как в подцензурной публицистике, так и в текстах самиздата). Подобные представления о прошлом, которые были выработаны либеральной интеллигенцией, объединившейся после 1989 г. вокруг Б.Ельцина, и в которых нетрудно различить значительные заимствования из концепций националистов, стали главенствующими в 1990–1991 гг. Они легли в основу новой идентичности, которую пожелала обрести Россия в момент разрыва с советской эпохой.

Новые представления о прошлом строились на изменившейся оценке связей между сталинизмом и революцией. Для выяснения генезиса сталинизма этот вопрос первоначально важен, однако в начале перестройки обсуждать его открыто было еще невозможно: критика Октябрьской революции оставалась под запретом. Поэтому самые разные авторы, особенно либералы, одни по убеждению, другие под действием официальной цензуры и самоцензуры, подчеркивали разрыв между сталинским режимом, установленным вслед за "великим переломом" 1929 г., и той системой, которая была создана революцией*. После 1989 г., когда по мере отмены запретов возникает возможность рассуждать о прошлом более свободно, начинает все громче звучать мысль, прежде присутствовавшая в книгах и статьях лишь в форме намеков, о том, что революция и сталинизм, Ленина и Сталина связывают отношения прямой и неоспоримой преемственности. Сталинская диктатура теряет свою исключительность и становится всего лишь неизбежным следствием Октябрьской революции. Осуждение сталинизма перерастает в осуждение большевизма, причем второй термин за счет знаменательного семантического сдвига постепенно вытесняет первый и в конце концов полностью его заменяет**. Большевизм объявляется феноменом, свойственным незначительному меньшинству и вдобавок *импортированным*, глубоко чуждым русской истории*** (тема, близкая также националистам, в устах которых слова "чужой" и "иностраннный" играют роль эвфемизмов, заменяющих слово "еврейский").

Итак, Октябрьская революция подвергается радикальной критике, ее объявляют первопричиной всех трагедий, которые впоследствии пережила страна. Критика эта об-

рушивается на всю советскую историю в целом; сталинские преступления при этом не отделяются от других объектов осуждения. Согласно этой концепции, революция заставила Россию отклониться от "естественного" пути, по которому пошли западные страны — пути, капиталистическому в экономике и демократическому в политике, — и насильно подвела ее преступному "эксперименту" по воплощению в жизнь коммунистической утопии. Иначе говоря, революцию лишают социального масштаба и превращают в заурядный государственный переворот, устроенный горсткой кровавых фанатиков, которые решили во что бы то ни стало воплотить в жизнь заветы К.Маркса. Революция предстает своего рода "исторической случайностью", помешавшей России пожать плоды экономического роста, начавшегося на заре XX в.* Очевидно, что радикальная критика Октябрьской революции с помощью таких аргументов неразрывно связана с ностальгической идеализацией дореволюционной, царской России. Эту Россию изображают в лубочных тонах как страну богатую, населенную трудолюбивыми людьми, лишенную социальных противоречий, страну, где предприниматели охотно покровительствовали искусству, жертвуя на него огромные суммы, а политики были душой и телом преданы интересам отечества**. Подобная новая интерпретация прошлого, которую с удивительной легкостью и быстротой принимают самые широкие слои населения, позволяет произвести двойную операцию, необходимую для смягчения мучительных противоречий, вызванных пробуждением памяти. Во-первых, вытеснить сталинизм из памяти, освободиться от груза прошлого, оказавшегося невыносимо тяжелым, а во-вторых, предложить стране новую национальную идентичность, если не целиком позитивную, то хотя бы приемлемую.

Радикальная критика революции в той форме, в какой она производится в этот период, позволяет использовать разные стратегии вытеснения. Назовем прежде всего выбор исторической перспективы. Если сталинизм зародился не в конце 1920-х годов, а в 1917 г., значит, следует обсуждать и осуждать не столько Сталина, сколько Ленина. При этом сталинизм вообще перестает быть проблемой, достойной отдельного обсуждения. В самом деле, если считать Сталина не более чем продолжателем дела Ленина, а революцию — всего лишь государственным переворотом, осуществленным горсткой маргиналов, асоциальных чужаков, которые вознамерились любой ценой реализовать в России *иностранную, импортированную* утопию, глубоко чуждую русскому народу (иначе говоря, Марксов социализм), то истинными виновниками всех зол становятся большевики. А поскольку это так, то можно снять вину с русского народа, оказывающегося, по этой логике, жертвой событий, за которые он не несет никакой ответственности. Таким образом, Россия освобождается наконец от невыносимого гнета прошлого, которое не желает уходить в прошлое, и превращается из преступницы

* Националисты, напротив, касались этого вопроса только вскользь. Не имея возможности открыто критиковать революцию, они обрушивались на 20-е годы, называя их периодом полного упадка страны, пребывавшей во власти "космополитов" (на языке националистов, синоним слова "еврей"). Сталин на этом фоне изображался своего рода спасителем страны, вернувшим ей величие. Впрочем, националисты стремились не столько реабилитировать Сталина, сколько подвергнуть завуалированной критике революцию как плод "еврейского заговора", устроенного ради уничтожения России; Сталин в рассуждениях националистов предстает "меньшим злом": ведь он спас страну от власти евреев (прежде всего Л.Троцкого). См., например: Черный хлеб искусства. Диалог писателя Анатолия Иванова и критика Валентина Свинникова // Наш современник. 1988. № 5; Ланщиков А. Мы все глядим в Наполеоны // Там же. 1988. № 5. С. 106–142; Чалмаев В. Испытание надежд... Перестройка и духовно-нравственная ориентация современной прозы // Москва. 1988. № 4. С. 183–196; Назаров Г. Потрясение. Хроника революции. Февраль—октябрь 1917 года // Молодая гвардия. 1989. № 11. С. 9–28.

** Достаточно перечислить, например, еженедельник "Столица", учрежденный весной 1990 г. Моссоветом после победы демократов на выборах, чтобы увидеть результаты этой лингвистической мутации.

*** См., например: Ципко А. Хороши ли наши принципы? // Новый мир. 1990. № 4.

* Эта трактовка полностью сформировалась уже в начале 1990 г. См. например: Ципко А. Хороши ли наши принципы?; Он же. Насилие лжи, или как заблудился призрак. М.: Молодая гвардия, 1990. О националистической концепции "еврейского заговора" см.: Шафаревич И. Русофобия // Наш современник. 1989. № 6. С. 167–192; 1989. № 11. С. 162–172. Этот текст совершенно явно перепевает знаменитые "Протоколы сионских мудрецов".

** См., например: Новиков С. "Караул! Доллары! // Литературная газета. 1990. № 25. С. 13; Сабов А. Обморок от свободы // Там же. 1990. № 39; Петров Р. Третье сословие, или уничтоженный капитал // Огонек. 1990. № 27. С. 9–12; Он же. Миллюков, или биография компромисса // Там же. 1990. № 14. С. 18–21. См. также фильм Станислава Говорухина "Россия, которую мы потеряли" (1992).

в невинную жертву^{1*}. Жертву тем более невинную, что, согласно описываемой концепции, Ленин и большевизм чужды русской истории и традиции (излюбленная тема *славянофилов*^{2*}), поскольку марксизм был идеологией "импортированной", привезенной из-за границы, а революционеры пользовались авторитетом исключительно среди деклассированных маргиналов, своего рода "ненастоящего" народа — очень опасного и не имеющего ничего общего с народом "настоящим" — трудолюбивым и не склонным устраивать революции^{3*}. Сходную роль играет демонизация верховного вождя (Сталина, а затем и Ленина), который превращается в *deus ex machina*; это также позволяет снять всякую ответственность с русского народа. То же касается идеи сталинизма и, шире, самой революции, которая описывается как "катастрофа", т.е. как явление, независимое от воли людей, не несущих за него, стало быть, никакой ответственности. Теоретическое обоснование для этого отказа нести ответственность за собственное прошлое предоставляет понятие "тоталитаризм", которое с 1989 г. становится главной объяснительной моделью советского опыта^{4*}. В самом деле, если принять теорию, согласно которой, с одной стороны, всемогущая политическая власть, а с другой — раздробленное и безгласное общество, терпеливое и жертвенное, то такое общество можно рассматривать исключительно как жертву этой власти, которая одна несет ответственность за все произошедшие трагедии.

Вместе с тем идеализация дореволюционной России — первостепенный этап в создании новой национальной идентичности, если не позитивной целиком, то, по крайней мере, приемлемой^{5*}. Если мысль о невинности русского народа, о его непричастности к той трагедии, в которой он играл роль священной жертвы (красноречивейшее выражение этой мысли — любимый националистами образ геноцида русского народа, устроенного большевиками^{6*}), стала для России первым шагом к искомому избавлению от чувства вины и созданию приемлемой идентичности, то идеализированное изображение эпохи царизма помогло ей обзавестись вымышленным утешительным прошлым, заменившим прошлое реальное. Для того чтобы национальная история могла быть представлена в сугубо позитивном плане, неудобное прошедшее выносится за скобки — ход, который стратегия вытеснения использует очень часто^{7*}. Действительно, разоблачение Октябрьской революции привело, как уже говори-

лось, к вычеркиванию из истории всего советского периода, который превращается, можно сказать, в некую "анти-историю". Если советский период не что иное, как результат "эксперимента", навязанного стране и окончившегося неудачей, то его следует считать неким внеисторическим исключением из течения "правильной" русской истории. Советский период берется в скобки, сводится "к нулю", выбрасывается из национальной истории, тогда как "подлинным" прошлым объявляется прошлое дореволюционное^{1*}.

Интеллигенты, первыми заговорившие о долге памяти и о включении сталинизма в память, полагали, что результатом этого процесса станет преодоление кризиса, связанного с поисками утраченной идентичности. Однако в действительности ничего подобного не произошло. Напротив, кризис стал еще глубже. Пробуждение памяти об эпохе сталинизма, переживание траура оказалось крайне мучительным. Осуждение сталинских преступлений вызвало в обществе настоящий шок, о чем свидетельствуют хотя бы письма читателей^{2*}. Больше того, когда открылся гигантский масштаб этих преступлений, стало ясно, что их невозможно было совершить без участия, активного либо пассивного, миллионов советских людей, а значит, почти невозможно провести четкую демаркационную линию, отделяющую жертв от палачей: вся страна оказалась под подозрением. По-видимому, именно это сознание и сделало переживание траура невыносимым, груз коллективной вины оказался слишком тяжел. Воссозданные картины прошлого вызвали на рубеже 1980-1990-х годов всеобщее смятение в умах; отсюда очень распространенное ощущение расколотой идентичности. Социологические опросы свидетельствуют о том, что в это время самооценка жителей России была низкой, как никогда.

Напротив, вытеснение сталинизма позволило жителям России улучшить представление о собственной стране. Данные социологических опросов позволяют установить совершенно явную связь между улучшением самооценки жителей России и падением интереса к преступлениям сталинской эпохи. Если в конце 1989 г., когда обличения сталинизма достигли апогея, доминирующим было чувство стыда за прошлое, то в середине 1990-х годов главенствующим сделалось ощущение гордости за историю своей страны^{3*}. Именно в этот период опросы показывают явное снижение интереса к преступлениям сталинской эпохи. Если, например, в 1989 г. 36% интервьюируемых причисляли массовые репрессии к самым значительным событиям в истории страны, то в 1994 г. это мнение разделяют только 18%^{4*}. Впоследствии эта тенденция нарастает: в 1999 г. цифра снижается до 11%^{5*}. В этом контексте и становится возможной осторожная реставрация образа Сталина, совершающаяся во второй половине 1990-х годов. Если в 1990 г. только 8% опрошенных считали Сталина самым положительным пер-

1* См., например: *Ципко А.* Хороши ли наши принципы?

2* Классический текст, выражающий эту точку зрения, — "Читая Ленина" Владимира Солоухина (Родина. 1989. № 10. С. 66-70); до указанной публикации статья распространялась в самиздате. В упомянутом выше фильме Говорухина режиссер-постановщик сообщает даже, что нашел в архивах документ, подтверждающий, что дед Ленина был крещеным евреем.

3* См., например: *Ципко А.* Хороши ли наши принципы?

4* Из первых работ такого рода см., например: *Мигранян А.* Легко ли стать Европой? // XX век и мир. 1988. № 12. С. 22-25; Природа тоталитарной власти (обсуждение за "круглым столом" редакции) // Социологические исследования. 1989. № 5. С. 42-52.

5* О проблеме приемлемой идентичности ср. наблюдения над вытеснением памяти о нацизме в Германии в кн.: *Valensi L.* Fables de la mémoire. La glorieuse bataille des trois rois. P., 1992. P. 12.

6* См., например: *Капустин М.* Камо грядеши? // Октябрь. 1989. № 8.

7* Такова, например, интерпретация фашизма у Бенедетто Кроче, приобретающая впоследствии статус классической: с его точки зрения, режим Муссолини представлял собой не что иное, как несчастное отклонение от нормального хода итальянской истории (см.: *Zunino P.G.* Interpretazione e memoria del fascismo. Bari, 1991. P. 111-142). Сходным образом обстояло дело и в Германии сразу после войны; такие историки, как Фридрих Мейнеке и Герхард Риттер, пытались представить нацизм исключением, никак не связанным с немецкой историей (*Kershaw I.* Qu'est-ce que le nazisme? Problèmes et perspectives d'interprétation. P., 1992. P. 36-38 et passim).

1* См. об этом также: *Khapaeva D.* L'Occident sera demain // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 1995. N 6. P. 1259-1270.

2* Анализ этих писем см.: *Бестужев-Лада И.* Правду и только правду. Размышления социолога о трагических страницах нашей истории и противниках перестройки // Неделя. 1988. № 5. С. 15. Ср.: *Он же.* Надо ли ворошить прошлое? // Социологические исследования. 1988. № 3. С. 101-104; *Пожеган Г.* Читая письма о Сталине. Человек, поджигавший муравейники // Вечерняя Москва. 1988. 8 июля; *Лацис О.* Долгая жизнь сказок // Известия. 1988. 18 июня.

3* См.: Советский простой человек... С. 36, 202-208; *Левада Ю.* Человек советский пять лет спустя: 1989-1994 // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М., 1995. С. 218-229; *Дубин Б.* Прошлое в сегодняшних оценках россиян // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996. № 5. С. 28-34.

4* *Гудков Л.* Победа в войне: К социологии одного национального символа // Экономические и социальные перемены... 1997. № 5. С. 12-19.

5* *Левада Ю.* От мнений к пониманию. М., 2000. С. 450.

сонажем в истории страны, то в 1997 г. эту точку зрения разделяют уже 15%; если в 1990 г. самого отрицательного персонажа в нем видели 48%, то в 1997 г. их число снижается до 36%^{1*}. Более того, если в 1989 г. самой выдающейся личностью всех времен и народов Сталина считали только 12% опрошенных, то в 1994 г. число его поклонников возросло до 20%, а в 1999 г. — до 35%^{2*}.

В том же направлении эволюционируют и оценки сталинской эпохи. В 1994 г. в положительном плане ее оценивали 18% опрошенных, а 57% придерживались противоположного мнения; в 1999 г. это соотношение выглядело уже 26 и 48%^{3*}. "Реабилитация" Сталина объясняется, по всей вероятности, двумя фактами. С одной стороны, она отражает желание положить конец национальному самобичеванию, очернению родины, а именно так многие люди воспринимали обличение сталинизма. С другой стороны, в ней выразилось желание отыскать в прошлом, включая сталинскую эпоху, положительные элементы, которые могли бы послужить основой для построения новой коллективной идентичности. Одним из таких элементов стала победа во Второй мировой войне. Это повлекло за собой переоценку роли Сталина как вождя нации, что фактически реанимировало одно из основных положений официальной истории брежневских времен.

Связь между чувством вины, вытеснением сталинизма и созданием приемлемой или даже позитивной идентичности хорошо видна на примере эволюции, которую претерпел взгляд интеллигенции на прошлое и, в частности, на отношения интеллектуальной элиты и сталинской власти. Если во второй половине 1980-х годов представители интеллигенции размышляли о сложности этих отношений, о причинах, заставивших значительную часть интеллектуальной и художественной элиты не только сразу после революции, но и в 1930-е годы сотрудничать с режимом, то в начале 1990-х годов подобные размышления прекращаются. Чем больше внимания уделяется репрессиям, которые обрушились на лучших представителей русской культуры, тем дальше на задний план отходит тема причастности интеллигенции к укреплению сталинского режима, а значит, и ее ответственности за его преступления. Ее место занимает утешительное представление об интеллигенции как вечной жертве власти, жертве, которая всегда пребывает в оппозиции и которая вдобавок исполнила важнейшую миссию — спасла от исторических бурь истинные ценности русской культуры, а следовательно, и национальную идентичность^{4*}.

Впрочем, сказанное относится и к принятию сталинизма населением, а также к феноменам согласия с режимом. Эти проблемы также замалчивают, превознося при этом всех, кто сопротивлялся советскому режиму (без различия эпох). Тем самым получается, что советский режим существовал как бы без советских людей. Это весьма распространенный способ вытеснения (вспомним, например, фашизм без фашистов в Италии^{5*}). Он позволяет переписать прошлое, заменив то, что было в реальности, тем, что вспоминающие хотели бы видеть на его месте.

Идентификационные напряжения, лежащие в основе новой картины прошлого, обуславливают, как и на первом описанном нами этапе, ее большую мобилизационную мощь. Вкратце напомним контекст, в котором этот новый

образ прошлого создавался. В 1990-1991 гг. обостряется политическое противостояние умеренных реформаторов, объединяющихся вокруг М.Горбачева, и радикалов, группирующихся вокруг Б.Ельцина. После падения Берлинской стены и "бархатных" революций в Центральной и Восточной Европе либеральная интеллигенция, под влиянием которой находится нарождающаяся политическая оппозиция, быстро оставляет надежды на возможность реформировать советскую систему и делает ставку на полный разрыв с социализмом. В ответ на углубление экономического кризиса, рост недовольства в обществе и нерешительность М.Горбачева радикалы требуют ускорения реформ, прежде всего немедленного введения рыночной экономики (либерализации цен, приватизации), без которой, по их мнению, страна не сможет развиваться ни экономически, ни политически. Столкнувшись с сопротивлением центральной власти, они после выборов 1990 г., в результате которых Верховный Совет РСФСР возглавил Б.Ельцин, оспаривают конституционные prerogative Советского Союза и требуют для России права самостоятельно решать свою судьбу. Проблема этого противостояния и двоевластия была разрешена в результате поражения путча, организованного наиболее консервативным крылом коммунистов в августе 1991 г.: Россия избавляется от подчинения Советскому Союзу, а в декабре 1991 г. последний вообще прекращает существование. Эпоха советского коммунизма кончается, на политическую арену выходит посткоммунистическая Россия.

Во время этого бурного периода воля к решительному разрыву с коммунистическим прошлым (этот разрыв олицетворял Б.Ельцин) питалась резким отрицанием всей советской истории, отождествляемой с бесконечным рядом преступлений, и одновременной идеализацией дореволюционной России. В противостоянии М.Горбачева и Б.Ельцина первостепенную роль сыграло общественное использование истории. Образ Ельцина строился на противопоставлении двух прошлых — мрачного советского и лучезарного дореволюционного. Два этих образа не имели между собой ничего общего, как если бы речь шла о двух разных странах: нищий и кровавый Советский Союз противопоставлялся богатой и счастливой России. Если М.Горбачев воплощал советскую историю со всеми ее ужасами, то Б.Ельцин выступал наследником дореволюционных триумфов. И не только наследником, но и человеком, который призван возродить прошедшее великолепие.

Чтобы легитимировать свою радикальную политику, Б.Ельцин и в самом деле обещал возрождение России, изображаемое им как возврат к России до 1917 г. (года, когда было прервано "естественное течение" истории); для этого нужно было "закрыть скобку", немедленно покончить с несчастным экспериментом советской истории, прежде всего вернувшись к рыночной экономике*. Получалось, что Россия не несет за советскую историю никакой ответствен-

1* Левада Ю. Невыученные уроки Октября в зеркале общественного мнения // Общая газета. 1997. № 44.

2* Левада Ю. От мнений к пониманию. С. 453.

3* Там же. С. 451.

4* Ср., например: Чудакова М. Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литературном процессе 20–30-х годов // Новый мир. 1988. № 9. С. 240–260; Лихачев Л. О русской интеллигенции // Там же. 1993. № 2. С. 3–9.

5* Isnenghi M. Intelletuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista. Turin, 1979. P. 21.

* В политическом использовании прошлого сторонниками Б.Ельцина первостепенную роль сыграл столыпинский миф. О его "изобретении" (по терминологии Эрика Хобсбаума) см., например: Петров Р. Петр Столыпин: Одиночество реформатора // Россия. 1990. 22 нояб.; П.А.Столыпин и его аграрная реформа // Вопросы экономики. 1990. № 10; Великий реформатор или провинциальный политик? // Родина. 1990. № 11. С. 14–19; Ковальченко И. Столыпинская аграрная реформа (Мифы и реальность) // История СССР. 1991. № 2. С. 52–72; Анфимов А. Тень Столыпина над Россией // Там же. 1991. № 4. С. 112–121. Мифологизация образа Столыпина — еще один мотив, заимствованный либералами у националистов, которые первыми начали превозносить этого государственного деятеля и дошли даже до того, что объявили его гибель от рук террориста следствием "еврейского заговора" против величия и могущества России (см., например: Штутнов Ф. Великая замятня // Наш современник. 1989. № 9. С. 3–28; 1989. № 10.; 1989. № 11. С. 132–149; 1989. № 12. С. 147–156; 1990. № 3. С. 120–130; Дьяков И. Забытый исполн // Там же. 1990. № 3. С. 131–142).

ности, поскольку отделена от нее пробелом Октябрьской революции^{1*}. Изобретение виртуального прошлого — если бы не произошла революция, Россия непременно пошла бы по "естественному" западному пути и сделалась бы, подобно странам Запада, процветающей страной, — оказалось равносильно обещанию счастливого будущего. Обещание же это было тем более необходимо, что страна день за днем все глубже погружалась в кризис, и положение выглядело безвыходным. 1990–1991 гг. были для Советского Союза самыми тяжелыми из всего перестроечного периода. Идеализация дореволюционной России позволяла, таким образом, добиться двух целей сразу: наделить страну утешительной идентичностью и предложить ей успокоительную перспективу на будущее. Благодаря эмоциональному влиянию, которое оказывала на все население апелляция к прошлому и вытекающие из нее представления о национальной идентичности, эта апелляция стала катализатором, позволившим Б.Ельцину мобилизовать широкие социальные слои и получить значительную поддержку общества, обернуть в свою пользу растущее недовольство существующим положением вещей и использовать его для свержения коммунистического режима. Однако подобное общественное использование прошлого не смогло бы сыграть эту роль, если бы данный образ истории не соответствовал потребностям памяти именно в таких идентификационных опорах.

Память, сбившаяся с пути: посткоммунистическая Россия лицом к лицу со своим прошлым. Костяком новой "официальной истории" стало то представление о прошлом, которое сформировалось в 1989–1991 гг. и легло в основу национальной идентичности России сразу после крушения коммунистического режима. Выражение "официальная история" зачастую трактуется чрезмерно широко, поэтому его необходимо здесь уточнить. Дело в том, что официальная история посткоммунистической России имеет гораздо больше общего с теми огромными историческими нарративами, призванными формировать у граждан национальное сознание, которые существуют во всех странах, чем со старой официальной историей, существовавшей в Советском Союзе^{2*}. Хотя она и служит легитимации нового режима и его политики, но, в отличие от официальной советской истории, не является для власти основным источником легитимности. Как и в большей части стран, она выполняет функцию лишь идеологической подпорки. При этом она лишена нормативного характера и не препятствует свободным исследованиям в сфере истории. Кстати, именно в последнее десятилетие, благодаря тому, что архивы наконец стали более доступны для исследователей, вышли в свет многочисленные добротные исследования и публикации документов, позволившие прояснить самые темные места советской истории, и прежде всего сталинского периода, такие, например, как механизмы принятия решений на высшем уровне, история коллективизации или создание

^{1*} Примеры этого нежелания представителей новой российской власти брать на себя ответственность за прошлое весьма многочисленны: вспомним хотя бы отказ Б.Ельцина во время его визита в Прагу в августе 1993 г. принести извинения народу Чехословакии за вторжение советских войск в 1968 г., — отказ, публично мотивированный тем, что это преступление совершила не Россия, а Советский Союз.

^{2*} Сошлемся хотя бы на классическое исследование Марка Ферро: *Ferro M. L'histoire sous surveillance. Science et conscience de l'histoire.* P., 1985, а также на известную книгу Б.Андерсона: *Anderson B. L'imaginaire national. Reflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme.* P., 1996 (1-е амер. изд., 1983; русс. пер.: *Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма.* М., 2001).

ГУЛАГа^{1*}. Если эти работы вызвали весьма скромные отклики и оказали лишь самое незначительное влияние на формирование коллективной памяти, нисколько не изменив даже самые упрощенные и схематичные из новых образов прошлого, виной тому вовсе не официальная история. Дело тут во всегдашнем расхождении между научным дискурсом и коллективной памятью, расхождении, масштабы которого, по-видимому, зависят от способности исследования отвечать насущным потребностям общества и прежде всего помогать ему в поисках идентичности. Хотя выражение "официальная история" страдает двусмысленностью, однако оно больше подходит для обозначения процесса, в ходе которого вся история страны переписывается заново под пристальным контролем государства, чем модное сейчас выражение "политическое использование прошлого". Это последнее выражение указывает, на мой взгляд, не столько на весьма сложную работу по пересозданию прошлого с нуля, сколько на процедуру более простую, состоящую в том, что политическая власть ставит уже "готовое" прошлое себе на службу. Официальная история участвует в политическом использовании прошлого, но она им не исчерпывается, и наоборот.

По мере того как создаются и укрепляются новые институты посткоммунистической России, идет все более интенсивная работа по "изобретению традиции", если воспользоваться выражением Э.Хобсбаума^{2*}. Прошлое вспоминается заново для того, чтобы символически восстановить связь времен, оборванную революцией, и уничтожить цезуру, возникшую по вине этой последней. Таким образом, как бы поверх советской эпохи утверждается "преемственность" России дореволюционной и России посткоммунистической. Новая официальная история, которую школьные учебники, научно-популярные сочинения и средства массовой информации, прежде всего телевидение, без труда сделали достоянием всех слоев населения, способствовала массовому распространению стереотипного образа прошлого, возникшего в 1990–1991 гг. и проанализированного выше^{3*}. Словесная идеализация царской России сопровождается воскрешением символов и ритуалов той эпохи (назовем, например, двуглавого орла, различные официальные церемонии или возвращение к дореволюционной терминологии в политическом языке), а также массовым появлением новых мемориальных мест. Здесь нужно прежде всего указать на постройку или реконструкцию старинных памятников архитектуры, разрушенных в советское время, в первую очередь храмов; вспомним, например, храм Христа Спасителя в Москве^{4*}.

Церкви реконструируются повсеместно, между тем намерение воздвигнуть в столице памятник жертвам стали-

^{1*} См., например: *Хлевнюк О.* 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992; *Он же.* Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996; *Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД.* / Сост. А.Берелович, В.Данилов. Т. 1: 1918–1922: Документы и материалы. М., 1998; Т. 2: 1923–1929. М., 2000; Система исправительно-трудовых лагерей...

^{2*} *Hobsbawm E.J., Ranger T.* The Invention of Tradition. Cambridge, 1983.

^{3*} Об этих учебниках см.: *Исторические исследования в России. Тенденции последних лет* / Сост. Г.Бордюгов. М., 1996; *Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы* / Сост. К.Аймермахер, Г.Бордюгов. М., 2002; *Новые концепции российских учебников истории* / Сост. К.Аймермахер, Г.Бордюгов, А.Исаков. М., 2001. Что касается популярных сочинений, то достаточно вспомнить имеющие большой успех книги Э.Радзинского. Исследовательские работы об исторической тематике на телевидении мне неизвестны, я опираюсь здесь на свой личный опыт.

^{4*} О его истории см.: *Храм Христа Спасителя в Москве.* М., 1992. Православная церковь и символы православия играют в переписывании прошлого центральную роль. Я оставила эту важную тему в стороне, поскольку она достойна отдельного исследования.

низма, возникшее еще в хрущевскую эпоху, а затем возродившееся во время перестройки, до сих пор так и не выполнено^{1*}. В октябре 1990 г. члены "Мемориала", не дождавшись постройки памятника, добились установки на Лубянской площади, перед зданием КГБ и совсем рядом с памятником Феликсу Дзержинскому, скромного серого камня, привезенного с Соловецких островов, где в 1923 г. был создан первый лагерь для политзаключенных^{2*}. Но этим все и закончилось. На местах кое-где установили памятники жертвам революции, собрав таким образом все послереволюционные времена в одно. Среди подобных памятников следует упомянуть петербургского Сфинкса работы Михаила Шемякина и мемориал работы Эрнста Неизвестного, воздвигнутый в Магадане^{3*}. Однако эти памятники играли в мемориальной политике властей сугубо маргинальную роль, что служит лишним подтверждением сказанному выше о вытеснении сталинизма из памяти страны. В монументальной политике, как и во всех других областях, связанных с общественным использованием истории, главенствующую роль сегодня играет прославление вновь обретенной преемственности по отношению к дореволюционному периоду и перечеркивание советского прошлого, от которого в памяти остаются только преступления и о котором вспоминают преимущественно для того, чтобы отыскать в нем причину всех трудностей, переживаемых страной, прежде всего экономическими. Впрочем, нельзя сказать, что память о советской эпохе окончательно стерта. Так, если после 1991 г. некоторые памятники деятелям советских лет были сняты с пьедесталов (назовем в первую очередь памятник Феликсу Дзержинскому), то преобладающая их часть осталась на своих местах, включая Мавзолей, который, несмотря на неоднократно повторявшиеся угрозы властей похоронить останки Ленина на кладбище, по-прежнему высится на центральной площади столицы.

Если вначале вытеснение сталинизма и идеализация дореволюционной эпохи позволили России создать себе пусть и не позитивную, но, по крайней мере, приемлемую идентичность, дающую возможность смотреть в будущее с надеждой, то по мере нелегкого продвижения по посткоммунистическому пути и этот образ прошлого стал неправомерно размываться. Уже в середине 1990-х годов обнаружились первые несомненные симптомы разрыва между новым образом прошлого, призванным дать стране новую идентичность, и живой памятью общества. Образ прошлого, созданный в начале 1990-х годов и поначалу пользовавшийся большим успехом, превратился в сусальную картинку, в образец пустопорожней риторики. Мало-помалу он утратил свою способность пробуждать в обществе чувство причастности, так что оно стало от него удаляться.

Признаки этого нового расстройтва памяти весьма многочисленны. Назову, например, появление ностальгии по советскому прошлому и прежде всего по брежневской эпохе, которая с середины 1990-х годов рисуется в воспоминаниях части населения как время наибольшей ста-

бильности, относительного достатка и человеческой солидарности, резко отличающееся от непонятной и смутной современности. Если в 1994 г. брежневскую эпоху оценивали в основном положительно 36% опрошенных, то в 1999 г. — 51%; зато число тех, кто оценивает ее отрицательно, снижается соответственно с 16 до 10%^{1*}. Годы брежневского "застоя", столько раз становившиеся предметом яростного осуждения на предыдущих этапах, теперь представляются россиянам наилучшим периодом всего XX в., включая дореволюционное время^{2*}. Ностальгия по советским временам проявляется и в другом — например, в выдвижении на передний план некоторых символических фигур и событий советской эпохи, как правило, не имеющих политической окраски. Так, в списке самых выдающихся людей всех времен космонавт Юрий Гагарин занимает пятое место (после Петра Первого, Ленина, Пушкина и Сталина), а его полет в Космос называют одним из важнейших событий XX в. 54% опрошенных (в 1994 г. такого мнения придерживались 32%)^{3*}. При этом 60% опрошенных называют участие Советского Союза в освоении Космоса одной из главных причин для национальной гордости: победа над космическим пространством занимает в сознании россиян второе место после победы в Великой Отечественной войне^{4*}. Констатируя воскрешение советских стереотипов, нельзя, однако, не отметить, что дело здесь не просто в живучести так называемого "homo sovieticus" с его привычками и ценностями. На мой взгляд, здесь можно говорить и о стремлении подчеркнуть отдельные позитивно оцененные элементы прошлого с тем, чтобы мысленно достроить это последнее до необходимого целого и положить его в основу приемлемой идентичности.

Особенно выразительный симптом разрыва между коллективной памятью и новым официальным образом прошлого — неизменно положительная оценка Октябрьской революции значительной частью населения. В 1997 г., во время 80-го юбилея революции, 49% опрошенных оценили ее как положительное явление в жизни страны, а противоположного мнения придерживались 35%. Между тем и в 1990 г. этих последних было всего на 5% меньше. Эти цифры свидетельствуют о том, с какими трудностями после первоначальной эйфории столкнулось официальное представление о прошлом, чтобы лишь постепенно укорениться в историческом сознании людей^{5*}. То же самое касается феномена, казалось бы, противоположного по смыслу — отношения к династии Романовых, в частности, к последнему царю, Николаю II. Если в начале 1990-х годов публикации об императорской семье пользовались успехом у самого широкого круга читателей^{6*}, а подробное описание убийства Николая II и членов императорской семьи большевиками вызывало сильный эмоциональный отклик, то после 1993 г., когда страна начинает двигаться к авторитаризму и образ Романовых начинают использовать в политических целях, стре-

1* Левада Ю. От мнений к пониманию. С. 451; Устюжанин В. Почему так тянет прижаться к груди генсека // Комсомольская правда. 1996. 19 дек. С. 1.

2* На втором месте стоит хрущевская эпоха, оцениваемая положительно 30% опрошенных, а отрицательно — 14% (Левада Ю. От мнений к пониманию. С. 451).

3* Там же. С. 450-451.

4* Там же. С. 452.

5* Левада Ю. Невыученные уроки...

6* По оценкам исследователей, в 1991 г. сочинения о династии Романовых и о трагической гибели последнего императора составили примерно четверть от общего тиража научно-популярных исторических сочинений (около 8,5 млн книг). См.: Невежин В., Пруцкова О. Издание исторической литературы: Кризис или стабилизация? // Исторические исследования в России / Сост. Г.Бордюгов. С. 27.

1* Идея воздвигнуть памятник жертвам сталинизма способствовала основанию "Мемориала": в 1988 г. первой акцией общества стал сбор подписей за создание такого памятника. Затем М.Горбачев подхватил эту мысль на XIX партконференции (июль 1988), в результате Политбюро приняло соответствующее решение (Речь товарища М.С.Горбачева при закрытии XIX всесоюзной конференции КПСС // XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза: Стенографический отчет. М., 1988. Т. 2. С. 184; О сооружении памятника жертвам беззаконий и репрессий // Известия ЦК КПСС. 1989. № 1. С. 43).

2* Гай Д. Помни о ГУЛАГе // Вечерняя Москва. 1990. 31 окт. С. 2.

3* Долинина К. Михаил Шемякин остался недоволен недовольными им петербуржцами // Коммерсант. 1995. 6 мая. С. 13.

мясь оправдать с его помощью культ сильной власти^{1*}, интерес публики к царской династии существенно ослабевает. Так, торжественное перенесение в июле 1998 г. останков Николая II и членов его семьи в Петропавловский собор и похороны их там в присутствии Б.Ельцина и высших должностных лиц посткоммунистической России оставило население равнодушным, равно как и причисление в 2000 г. последнего царя к лику святых^{2*}. Несмотря на старания властей, образ Николая II не вызывает у россиян особой симпатии: согласно опросам общественного мнения, только 17% опрошенных отдают ему предпочтение перед всеми прочими историческими деятелями, тогда как Ленин вызывает преимущественные симпатии 28%, а поставленный на первое место Феликс Дзержинский — 35%^{3*}.

Разрыв между новой официальной памятью и памятью коллективной, которая снова потеряла право голоса, можно объяснить несколькими причинами. Прежде всего разочарованием, которое охватило страну. "Шоковая терапия", которой Б.Ельцин, желая мгновенно ввести рыночную экономику за счет либерализации цен и приватизации, подверг страну в начале 1992 г., привела к тяжелым социальным последствиям. Образы виртуального прошлого вселяли в людей надежду на скорое процветание, для которого достаточно будет свергнуть коммунистов, однако при столкновении с реальностью надежды эти очень скоро рассеялись. Общее обнищание населения, ухудшение условий жизни, подъем социальной напряженности и межэтнические конфликты — все это послужило разительным опровержением тех обещаний, какими манили идеальные картины дореволюционной России. Да и само идеальное прошлое в результате всех этих событий изрядно поблекло, отодвинулось вдаль, превратилось в образ золотого века, исчезнувшего навсегда. Либеральная идеология представляла это идиллическое капиталистическое прошлое прообразом России XXI в., которая станет процветающей благодаря следованию западным образцам, вернувшем ее на столбовую дорожку человеческой цивилизации. Понятно, что известное потускнение образа дореволюционной эпохи способствовало и компрометации "западного" пути, каким его недавно изображали. По данным социологических опросов, доля людей, считающих, что Россия должна идти своим собственным путем, не следуя западным

"хиерам", с начала 1990-х годов постоянно растет: в 2000 г. она составляла уже около 60% опрошенных^{1*}.

Опросы позволяют проследить, как углубляется и усиливается разочарование, охватывающее россиян: с 1991 г. число тех, кто утверждает, что, зная они заранее, к чему приведут реформы, начавшиеся в 1985 г., они бы не стали их поддерживать, постоянно возрастает. Если в 1994 г. 16% опрошенных оценивали эпоху Горбачева в основном положительно, а 47% — отрицательно, то в 1999 г. эти две группы составляли соответственно 9 и 61%. Оценки ельцинской эпохи еще более суровы: соотношение ее позитивных и негативных оценок выглядит в 1999 г. как 5 и 71%. Если в 1994 г. мысль, что "лучше бы все оставалось, как в 1985 году", разделяли 44% опрошенных, то к 1999 г. их доля возросла до 58%^{2*}. К середине 1990-х годов разочарование постепенно охватывает и прежнюю либеральную интеллигенцию. Чем очевиднее становится сползание новой власти к авторитаризму, тем призрачнее делаются надежды на установление в России демократической системы и внедрение рыночной экономики западного образца, которые владели интеллигентами-либералами в начале перестройки и которые привели их в ряды сторонников Б.Ельцина. Иллюзии развеиваются. Отходу либеральной интеллигенции от поддержки ельцинского режима способствовали прежде всего три события: расстрел Верховного Совета в октябре 1993 г., развязывание войны против борющейся за независимость Чечни в конце 1994 г., и наконец, переизбрание в июне 1996 г. тяжело больного Б.Ельцина на пост президента России, которому предшествовала скандальная избирательная кампания, не оставившая никаких иллюзий насчет якобы демократического характера существующей политической системы. Второй срок ельцинского президентства, ознаменовавшийся полной деградацией политической жизни, борьбой кланов в кремлевских коридорах и повсеместной коррупцией, больше напоминал агонию режима, чем начало новой исторической эры. Это лишило интеллигенцию последних из тех надежд, которыми она жила с начала перестройки.

Однако как бы ни важны были все перечисленные обстоятельства, главная причина нынешнего расстройств памяти россиян состоит, как мне кажется, в другом, а именно в той "дыре", которая образовалась из-за вытеснения сталинизма, — вытеснения, оборвавшего переживание траура. На это указывает, например, память о войне. Победа в Великой Отечественной войне глубоко укоренена в памяти всех жителей России и является для них одной из основных составляющих коллективной идентичности. Победу над нацистами неизменно называет самым значительным событием в истории XX в. подавляющее большинство (приблизительно три четверти) опрошенных в период с 1989 по середину 1990-х годов^{3*}. Позже память о войне, кажется, стала играть еще более важную роль, поскольку в 1999 г. число людей, считающих победу в ней самым значительным событием XX в., возросло до 85%^{4*}. Победа не только одно из редких воспоминаний, общих для всей страны, она еще и одна из основ построения позитивной национальной идентичности. Согласно опросу 1996 г., 44% респондентов считали победу над нацизмом одним из главных источников национальной гордости россиян^{5*}. Причем число людей, придерживавшихся этого мнения, продолжает расти: в 1999 г. оно составило 86%^{6*}.

Тем не менее при всей важности памяти о войне для построения национальной идентичности, эта память для России нелегка по причине своей амбивалентности, ведь

1* О политическом использовании и эволюции образа Романовых, преимущественно в трудах российских историков, см.: *Полунов А.* Романовы: Между историей и идеологией // Исторические исследования... С. 83–99.

2* По данным ВЦИОМ (июль 2000, N=1574 человек), удовлетворительную оценку дали 17%, затруднились с ответом 12%, выразили возмущение 10%, не выразили никаких эмоций 45% (Интернет).

3* *Левада Ю.* Невыученные уроки... Общая сумма составляет больше 100%, поскольку респонденты могли назвать несколько имен. Позитивная оценка Дзержинского не связана, как можно было бы подумать, с тягой русских к "сильной руке". По всей видимости, она вытекает из верности советским стереотипам: начиная с 30-х годов Дзержинского всегда изображали воплощением революционной чистоты и честности, неподкупным борцом за правое дело, см. замечания на эту тему в кн.: Советский простой человек. С. 190. Вместе с тем в середине сентября 2002 г. мэр Москвы Ю.Лужков поднял вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на его прежнее место перед зданием КГБ—ФСБ на Лубянской площади. За этим последовало протестующее заявление общества "Мемориал". Данный шаг Лужкова, в котором, среди прочего, видят давление на московскую власть со стороны структур госбезопасности и околорезидентских кругов в преддверии будущих выборов, обсуждается в печати, СМК, на отечественных сайтах Интернета, но без особой активности.

1* *Левада Ю.* От мнений к пониманию. С. 546.

2* Там же. С. 160, 439, 451.

3* *Гудков Л.* Победа в войне. С. 12; *Левада Ю.* Человек советский пять лет спустя. С. 220.

4* *Левада Ю.* От мнений к пониманию. С. 450.

5* *Дубин Б.* Прошлое... С. 29.

6* *Левада Ю.* От мнений к пониманию. С. 452.

в ней неразделимо перемешаны свобода и угнетение. Победа, завоеванная очень дорогой ценой, не только освободила страну от нацистского нашествия, но и способствовала укреплению сталинского режима. Война и сталинизм слиты в памяти воедино. По этой причине память о войне, которую в националистическом ключе культивировали власти брежневской эпохи, во время перестройки отступает на второй план. Отношение к сталинизму (сначала обличение, а затем вытеснение) повлияло и на память о войне, которая, хотя и оставалась вполне живой для общества, поначалу занимала весьма незначительное место в публичной памяти посткоммунистической России. Когда в 1995 г., в связи с празднованием 50-летия победы, память о войне была с большой помпезностью включена в официальную картину исторического прошлого, этот жест имел чисто националистическую окраску. Победу над нацизмом свели к очередному проявлению вечного героизма русского народа, сражавшегося за освобождение страны от безличных оккупантов, последних в череде различных завоевателей, которые на протяжении столетий неоднократно покушались на священную русскую землю. Таким образом, в результате политического использования память о войне в очередной раз подверглась искажению, она лишилась своего глубинного смысла. В результате ее вклад в формирование национальной идентичности ограничился "патриотической" риторикой, затемняющей истинные ценности, во имя которых велась война, прежде всего — свободу. Эта утрата ориентации и ценностей проявляется, среди прочего, в возникновении и весьма успешном распространении различных "ревизионистских" трактовок войны, равно как и в предложениях воздвигнуть памятники погибшим воинам обеих армий, под тем предлогом, что и русские, и немцы были в равной мере жертвами тоталитаризма^{1*}.

Прерванный "траур": возрождение русского национализма. Расстройство памяти, вызванное тем, что прошлое не было пережито до конца, объясняет, как мне кажется, те трудности, которые испытывает сегодня Россия с формированием новой идентичности во всех случаях, когда не хочет мобилизовать националистические символы и чувства. Вытеснение сталинизма мешает России продумать свою историю. Сегодняшняя Россия — страна без памяти; обрывочные воспоминания не составляют цельной картины и тонут в хаосе. Вытеснение сталинизма, как мы видели, повлекло за собой исключение из прошлого страны такого важного ее этапа, как советская история. В результате общество лишилось рамок, в которые оно могло бы вписать свои переживания, как личные, так и коллективные. Память о советской эпохе, представляющей собой реальное прошлое большей части населения, остается сегодня памятью бессловесной, фрагментарной, вынужденной находить себе выражение исключительно в тоске по утраченному. Больше того, идентификационные напряжения, приведшие первоначально к идеализации дореволюционной России, со временем утратили силу. По мере того как мерк образ триумфального возвращения России к естественному историческому пути, с которого ее заставили свернуть в 1917 г., идеализация дореволюционной эпохи теряла привлекательность в глазах населения. В 1990-е годы идентичность, насаждаемая властью, опять, как и до перестройки, оказалась чересчур искусственной для того, чтобы значительная часть населения, не говоря уже обо всей стране в целом, сочла возможным отождествить себя с ней.

^{1*} Позволю себе отослать читателей к моей статье: *Ferretti M. Nazismo, guerra e Resistenza. Il revisionismo e il paradosso della memoria russa // Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni / Ed. E. Collotti. Roma-Bari, 2000. P. 179-192.*

Именно это отсутствие памяти и дефицит идентичности создали основу для возрождения национализма. Чем более явно проступали авторитарные черты посткоммунистического режима и чем сильнее становилось разочарование, охватившее общество, тем чаще звучала апелляция к националистическим ценностям, постепенно вытеснявшим первоначальные либеральные ориентиры. Со времен первого этапа войны в Чечне национализм не переставал расширять свои позиции. Именно в этом контексте следует воспринимать и использование памяти о Великой Отечественной войне, о котором шла речь выше, и постоянное возрастание той роли, какую играет в обществе православная церковь, которая добилась того, чтобы в 1997 г. православие было, в сущности, объявлено государственной религией. При общем обвале ценностей и верований церковь, остающаяся, наряду с армией, единственным институтом, который сохраняет в глазах населения известный авторитет^{1*}, предстает при этом носителем позитивной национальной идентичности, способной помочь россиянам вписаться в многовековую традицию. Как в дореволюционные времена, "православное" стало синонимом "русского", что вовсе не означает, что большинство населения на самом деле глубоко прониклось религиозными чувствами^{2*}.

Рост национализма достиг своего апогея с приходом к власти В.Путина, который положил его в основу идентичности посткоммунистической России и современной государственной идеологии. Тем не менее в противоположном распространенной точке зрения не следует противопоставлять националисту В.Путину либерала Б.Ельцина: общих черт у двух режимов больше, чем отличий. Решение нового президента в угоду молчаливой, но весьма значительной части населения^{3*} вернуться к старому советскому гимну, снабдив его, впрочем, новыми словами, конечно, вызвало возмущение либеральной интеллигенции^{4*}, которое было охотно подхвачено западной печатью, получившей наконец возможность открыто обличить недостаточный демократизм посткоммунистической России. Между тем решение В.Путина не только вписывается в общую стратегию использования памяти о Великой Отечественной войне в националистическом контексте, но и, по-видимому, свидетельствует об осознании им наличия у россиян расстройства памяти и о стремлении уменьшить образовавшийся разрыв между общественной и коллективной памятью путем примирения с советским наследием, которое

^{1*} См.: *Карьяйнен К., Фурман Д.* Религия в массовом сознании постсоветской России. М.; СПб., 2000. С. 14; *Дубин Б.* Модельные институты и символический порядок // Мониторинг общественного мнения... 2002. № 1. С. 14-15.

^{2*} Православными объявляют себя 82% опрошенных, а верующими — всего 42%. При этом даже те, кто называют себя верующими, имеют, согласно социологическим опросам, самые смутные представления о христианстве: например, они верят не в Бога, а в некий животворный дух; они почти никогда не ходят в церковь и не молятся; как правило, они не знакомы ни с Ветхим, ни с Новым заветом и т.п. См.: *Карьяйнен К., Фурман Д.* Указ. соч. С. 15-24; *Дубин Б.* Массовое православие в России (90-е годы) // Индекс: Досье на цензуру. 2000. № 11. С. 115-118.

^{3*} Опрос общественного мнения, проведенный незадолго до официального принятия нового гимна, показал, что 46% опрошенных отдают предпочтение музыке старого советского гимна, тогда как гимн, принятый после крушения Советского Союза ("Патриотическая песня" Глинки) получил поддержку всего 11%. Напротив, в том, что касается герба России, 46% одобрили двуглавого орла (имперский герб), а за серп и молот высказались всего 16%. Наконец, по поводу флага мнения разделились следующим образом: 56% — за нынешний триколор, 20% — за советский флаг (ВЦИОМ, Интернет).

^{4*} См., например: За Глинку! Против возврата к советскому гимну / Сост. М. Чудакова. М., 2000.

слишком значительно для того, чтобы его можно было просто-напросто выбросить из национальной истории. Плодом этого стремления стал в настоящее время своего рода постмодернистский коллаж — память, в которой двуглавый орел соседствует со сталинским гимном.

В заключение мне хотелось бы остановиться на вопросе о том, как связаны между собой память, траур, демократия и национализм. Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Я могу лишь предположить, что забвение, умолчание, амнезия — разные проявления одной и той же работы памяти, стремящейся сделать мучительное прошлое более приемлемым^{1*}. В этом смысле вытеснение тоже можно считать составной, хотя и латентной, частью переживания траура, которое должно продлиться достаточно долго для того, чтобы люди в самом деле приняли свое прошлое. Следует подчеркнуть, что вытеснение сталинизма, имевшее место в России, — случай отнюдь не исключительный. Почти все общества, пережившие тяжелые потрясения, относятся к своему прошлому сходным образом. Нацизм в Германии, фашизм в Италии, вишистский режим во Франции каждый по-своему становились объектами вытеснения. Принуждение своей памяти к молчанию, как показала Николь Лапьер в своем замечательном исследовании о выживших членах еврейской общины в Плоцке, есть не что иное, как крайняя форма самозащиты, попытка смягчить боль для того, чтобы лишь мало-помалу впускать в сознание ужас пережитого^{2*}. Выжившие жители Плоцка — крайний случай, тем не менее он свидетельствует о более общих явлениях. Вспомним, сколько времени потребовалось Западу, чтобы вписать в память Холокост, вспомним о положении выживших узников нацистских лагерей, которые очутились в ситуации небытия и которые не смогли преодолеть молчаливое, но упорное сопротивление соотечественников, после войны желавших только одного: забыть ужасы прошлого, строить жизнь заново, смотреть в будущее^{3*}. Быть может, в России тоже должно вырасти новое поколение, не связанное напрямую с советской эпохой. Возможно, именно оно сумеет наконец спокойно подойти к проблеме сталинизма и вообще к трагической истории России в XX в. Образованная молодежь уже сейчас относится к прошлому гораздо более взвешенно, стремясь не столько обличить, сколько понять. Во всяком случае, именно к таким выводам можно прийти, знакомясь с материалами конкурса на лучшую работу по истории России XX в., организованному "Мемориалом" среди старшеклассников в 1999 г.^{4*}

Тем не менее даже соглашаясь с тем, что периоды вытеснения в работе памяти "физиологически" неизбежны, следует задуматься о том, какими последствиями была чревата для Советского Союза, а затем для России невозможность проделать работу траура по сталинизму. Пытаясь ответить на этот вопрос, я констатировала факт, оказавшийся неожиданным для меня самой. Каким бы парадоксальным это ни показалось, во всем, что касается конструкций памяти и идентичности, посткоммунистическая Россия (при всех очевидных различиях) имеет много общего с брежневской эпохой.

Во-первых, и в том и в другом случае мы наблюдаем вытеснение сталинизма из памяти общества. В брежневском СССР вытеснение это было навязано властями, хотя можно задаться вопросом, в какой мере само общество желало забыть эту мучительную страницу собственного прошлого, стремилось вычеркнуть его из памяти. К сожалению, пока еще нет работ по социальной психологии, позволяющих составить представление о шоке и смятении, в которое повергли советское общество разоблачения сталинских преступлений, сделанные Н.Хрущевым, и о реакции людей на эти разоблачения. Однако можно с некоторой долей уверенности предположить, что в стране, где, по словам Ахматовой, после возвращения из лагерей друг на друга смотрели две России — та, которая сажала, и та, которую сажали (не считая третьей — той, которая делала вид, что ничего не замечает и которую Примо Леви назвал "серой зоной"), — в этой стране из недр самого общества исходила потребность защититься от чувства вины с помощью забвения и тем самым найти в себе силы для дальнейшей спокойной жизни^{1*}.

Во-вторых, отказ от переживания траура сопровождается в обоих случаях — и в брежневском Советском Союзе, и в посткоммунистической России — охлаждением, а то и полным равнодушием к демократическим идеалам, интерес к которым (опять-таки при всех очевидных различиях) обострялся в те периоды, когда преступления сталинизма оживали в памяти общества, во время "оттепели" и в период перестройки.

В-третьих, и в брежневском СССР, и в посткоммунистической России ценности, на которых строится идентичность общества, приобретают националистический характер. Национализм основывается не только на прославлении величия нации, но и на меланхолическом отношении к прошлому, воспринимаемому как потерянный рай, безвозвратно ушедший золотой век. Посткоммунистическая Россия открыто идеализирует Россию царскую. Что же касается брежневской эпохи, то не следует забывать, что именно тогда "славянофилы" и "деревенщики" открыли величие вечной России и первыми начали воспевать красоты прошлого. В обоих случаях возникает множество мифологизированных и внеисторических элементов идентификации. Их общая черта — утверждение превосходства России над Западом, в чем угадывается изувеченное сознание общества, которое не способно принять свою реальную историю^{2*}.

И, наконец, в-четвертых, и в брежневском СССР, и в посткоммунистической России имеет место постоянно усиливающийся разрыв между официальной памятью и живой памятью общества, не узнающего себя в том образе, который насаждается властями. Эти аналогии наводят на мысль о некоей "цикличности" в функционировании памяти, как если бы в тот момент, когда переживание траура становится слишком мучительным, оно прерывается, уступая место вытеснению и меланхолии (если прибегнуть к еще одной метафоре из психоаналитического словаря, где этот термин обозначает особый, отличный от работы траура, тип отношения к утрате).

^{1*} Valensi L. Fables de la mémoire... P. 14. О проблеме забвения см. также: La mémoire et l'oubli, numero special de Communications / Dir. N. Lapierre. 1989. N 49; Yerushalmi Y.H., et al. Usages de l'oubli. P., 1988.

^{2*} Lapierre N. Le silence de la mémoire. A la recherche des juifs de Ploetz. P., 2001.

^{3*} См., например: Levi P. Les Naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz. P., 1989; Hilberg R. La politique de la mémoire. P., 1996.

^{4*} Человек в истории. Россия — XX век: Сборник работ победителей / Сост. Т.Бек, И.Шербакова. М., 2001.

^{1*} См. об этом наблюдения, к сожалению, слишком краткие, в кн.: Зубкова Е. Общество и реформы, 1945-1964. М., 1993. С. 117-119.

^{2*} Работы брежневской эпохи см. выше. Что касается эпохи недавней, то здесь следует упомянуть теории Анатолия Фоменко (Носовский Г., Фоменко А. Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? М., 1999; Они же. Русь и Рим. Правильно ли мы понимаем историю? В 2 т. М., 2000). Их критический анализ см.: История и антиистория. Критика "новой хронологии" академика А.Т.Фоменко / Сост. А.Кошелев. М., 2000. Замечу, что начало разысканий Фоменко пришлось на 1970-е годы.

Констатация этих аналогий, слишком многочисленных для того, чтобы можно было счесть их случайными, заставляет задуматься над существованием связи, с одной стороны, между переживанием траура и конструированием демократической идентичности и, с другой — между меланхолическим отношением к прошлому и ростом авторитарных идеологий, прежде всего национализма. Связаны ли между собой различные формы памяти (траур, меланхолия) и системы ценностей, лежащие в основе той или иной мемориальной конструкции? И если связаны, то как? Можно предположить (это не более чем рабочая гипотеза), что связь эта заключается в следующем. В той мере, в какой переживание траура требует от человека воспринять прошлое как общее наследие, за которое наравне с другими несет ответственность он сам, этот волевой акт делает его деятельным субъектом политической жизни, активно участвующим в движении за перемены, необходимые, чтобы не дать прошлому повториться. Именно это, как мне кажется, связывает переживание траура и демократические ценности. Напротив, меланхолическое отношение к прошлому, своего рода пассивное созерцание случившейся катастрофы, лишает человека чувства ответственности, он видит себя исключительно жертвой и вместо того, чтобы взять на себя ответственность за прошлое, ностальгически сожалеет о том, что было "прежде". Воспринимая прошлое лишь как результат действия неведомых, высших сил, человек не становится активным участником политической жизни. Напротив, он ищет покровительства сильной руки и авторитарной власти, составляющих основу любого национализма.

Перевод с французского В.М.

Виктория СЕМЕНОВА

Жизненный путь и социальное самочувствие в когорте 30-летних: от эйфории к разочарованию

Исследование процесса социальных изменений в обществе во временной перспективе обычно сосредоточено на исследовании "крайних" возрастных групп, представляющих условное "прошлое" и условное "будущее" данного общества. Интерес к "средним" возрастам сводится к выяснению прежде всего их места и роли в системе производственных отношений данного общества, при этом так называемые "средние" возраста обычно не подвергаются внутренней, более дробной возрастной дифференциации.

В современной России проблема более подробной возрастной стратификации общества становится объектом особого исследовательского интереса, поскольку каждая из когорт, входящая в так называемый "средний возраст", имеет свои социально-исторические особенности, особую конфигурацию "прошлого" — "настоящего" в их жизненном мире. Люди "среднего возраста" по-разному дислоцируют себя в современном социальном пространстве, особенно относительно процесса социальных перемен и экономических преобразований*. Вследствие этого есть основание

полагать, что такие отдельные возрастные когорты в рамках среднего возраста имеют также свое специфическое "ядро" поколенческого сознания, формируют свои ценностно-ориентированные союзы (поколения — К.Манхейм, 1952*) и сильно отличаются от других когорт в рамках того же среднего возраста (например, 30-, 40- и 50-летние).

Вместе с тем идентичность с определенным поколением остается одной из наиболее значимых социальных идентичностей в нашем обществе**. В общественном мнении существенно различаются, например, поколенческие союзы 40-летних, пришедших к власти вместе с В.Путиным, или "новое поколение" молодых прагматиков в сфере экономики, пришедшее вместе с В.Немцовым и С.Кириенко в середине 90-х годов. Вследствие этого можно предположить, что, несмотря на существенную внутреннюю социальную дифференциацию внутри каждой из возрастных групп, поколенческая дифференциация в России остается одним из важных факторов социальной дифференциации.

В связи с этим отдельный интерес представляет рассмотрение некоторых возрастных групп как самостоятельных поколенческих союзов на основе социально-исторического описания их жизненного пути и опыта, полученного в результате этого. Такой анализ позволяет прогнозировать коллективное поведение и самочувствие когорты, ее участие в социальной жизни в ближайшем будущем.

Поколенческий подход — адекватный инструмент для понимания общества с точки зрения временной перспективы. Существуют два основных подхода для анализа поколений. Один концентрируется на межпоколенческом подходе как сравнительном анализе разных поколений — что происходит в обществе с хронологическим процессом смены поколений, и другой подход (внутри-генерационный) — что происходит с одним поколением во временной перспективе, как проявляется на поколении "эффект времени".

Последний подход развивается в основном в рамках концепции "жизненного пути" (Г.Элдер, Дж.Гиель, 1998***), где он рассматривается как процесс движения сквозь возрастно-дифференцированное пространство жизни. Характер движения по этому пути (прохождение жизни) является эффектом влияния двух составляющих временных изменений: социально-исторических изменений (социальное время) и временных изменений жизненного цикла (субъективное время поколенческой когорты). В результате вырабатываются общие нормативы (паттерны) такого прохождения. В процессе прохождения жизненных стадий и поворотных моментов формируется жизненный опыт как субъективный компонент коллективного переживания по поводу своей предыдущей жизни. Основной вопрос при этом: каков результат их взаимного влияния на изменение социальных позиций и ценностей поколения на протяжении всего периода его жизни?

В теоретическом плане здесь существуют две основные гипотезы. Первая состоит в том, что "прошлое" как опыт социализации в условиях определенной исторической локализации играет первостепенную роль в формировании теперешнего (и будущего) облика поколения. Именно этот опыт формативного периода (до 17-25 лет), согласно

* Mannheim K. The Problem of Generations // Essays on the Sociology of Knowledge. L.: Routledge and Kegan Paul LTD, 1952.

В том же исследовании от 63 до 77% людей разных возрастных групп указали, что они часто или почти всегда ощущают себя "людьми своего поколения".

*** Methods of Life Course Research. Qualitative and Quantitative Approaches / Ed. J.Giele, G.Elder. L.: Sage Publications, 1998.

* Во всероссийском исследовании, проведенном в августе 2001 г., на вопрос: "Кого Вы относите к людям своего поколения" большинство опрошенных выбрали десятилетний период в определении возраста людей своего поколения: 30-, 40-, 50-летние и тд.